

★ РОМАНА ★
СЕМЕЙНОГО
ТЕКА
БИБЛИОТЕКА

Владимир

ЧУГУНОВ



ПРИЧАСТИЕ

Библиотека семейного романа

Владимир Чугунов

Причастие

МОФ «Родное пепелище»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

Чугунов В. А.

Причастие / В. А. Чугунов — МОФ «Родное пепелище»,
2017 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-070-8

Это третий роман из цикла «Наследники». Он продолжает историю главных действующих лиц романов «Молодые» и «Невеста». На этот раз перед нами семейная драма. Через тяжелейшие испытания приходится пробиваться главному герою к свету любви, под знаком которой, как он считает, проходит вся его жизнь. Взору читателя предстаёт прекрасный образ русской женщины, молодой матери, по-настоящему любящей жены, на долю которой выпала роль «узорешительницы», которую она выполняет с потрясающим великодушием и достоинством. Издание 2-е, исправленное и дополненное.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-98948-070-8

© Чугунов В. А., 2017

© МОФ «Родное пепелище», 2017

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Чугунов

Причастие

«Савл, Савл! что ты гонишь Меня?»

Часть первая

1

Проснулся от непривычной тишины. Через неплотно задёрнутые шторы в барачную четырнадцатиметровку сочился холодный свет января. Детская кроватка оказалась пустой. На полу валялись грязные полотенца, детские игрушки, старое тряпье, хлопучечное конфетти, ёлочный дождь, обрывки газет. Дверцы шифоньера стояли настежь. За дощатой перегородкой, в прихожей (она же и кухня), мучительно напоминая о чём-то, бессмысленно горел тусклый свет.

С трудом поднявшись (давненько он так не напивался!), огляделся. И тут же на письменном столе, рядом с портативной пишущей машинкой «Унис», удачно приобретённой в последнюю сессию в Москве, обнаружил записку – на машинописном листе рукою жены крупными буквами с подчёркнутой старательностью было выведено красным карандашом: «Я тебя ненавижу!!!»

И сразу навалилось...

Нет, он ничего не забыл, ничего не заспал и, наверное, уже никогда не заспит и не забудет, как в тот памятный вечер по выходе из сквера Пашенька заговорила о Насте, жене, уверяя, что она любви его больше, чем он думает, достойна, и стоит ему только начать, как всё у них сразу образуется. И когда он сказал, попробует, категорично возразила: «Нет, ты это сделай». И хотя он утвердительно кивнул, до конца сессии (да и потом, иначе разве бы до такого дошло?) пребывал в душевном раздрае, казня себя за то, что до последней встречи не смог принять окончательного решения, малодушно переложив его на чужие плечи (да ещё на чьи!), а теперь было поздно, и от этого хотелось выть. И потом, что это за абракадабра такая – заставить себя любить того, кого он, может быть, никогда и не любил, а просто пожалел. Казалось, и женился он единственно из жалости. Не было ни уважения, ни взаимопонимания в семье, его интересовало одно, Настю – другое. И как это переменить? Должен! В ту особенную минуту ему и в самом деле казалось, что «должен» и даже «может», но схлынуло всё это напускное, и вот уже никаких обязанностей за собой он не чувствовал. Жизнь одна. И почему он «должен» прожить её не так, как ему хочется, а как велит какой-то призрачный долг? И, раздираемый чувством протеста, в обиде на весь белый свет, ни к дьякону Петру, ни в мастерскую Ильи, ни к Иннокентию в Морозовский особняк не поехал.

Всё! Незачем! Хватит!

И сразу подхватило. И началось, как нарочно, с того самого «Хрустального» кафе, куда по старой памяти после творческого семинара с ребятами завалились. И надо было такому приключиться: только вошёл и сразу столкнулся с Герой Левко в компании коллеги по работе и двух молоденьких девчушек. Оказалось, в Москве по делам, инкогнито, Ирка-жена, не знает, а так второй год в председателях.

– Где?

– Угадай с трёх раз!

– В Белогорске?

– Не забыл, бродяга!

– Забудешь с тобой... И как?

– Да ничего, не жалеемся. Приезжай, не пожалеешь.

Из чистого любопытства поинтересовался:

– Кем возьмёшь?

– Начальником участка, извини, поставить не могу. Имеется. Вот. Собственной персонай. Познакомьтесь. Это Коля. Это Паша. – Они пожали друг другу руки. – А зав. базой или по снабжению хоть сейчас.

Из одной лишь учтивости Павел ответил, что подумает, и сразу перевёл на другое:

– Аркаша, случаем, не у тебя?

– Звал. Отказался. На нефелиновом руднике на «белазе» ишачит. С Лариской кирдык.

– Да что ты! Вот гад, а матери ничего не пишет! И как теперь?

– Да живёт с одной. Из новеньких. Страх сколько понаехало. И почти одно бабьё.

– Понятно. С Алтаем, значит, всё?

– Так при тебе ещё завязали.

– Помню. Да подумал, может, опять... Постой, а Семёна куда дел?

– В Семипалатинске Сенька. Старательская артель «Алтынай». Слышал?

Откуда? Знает только, что Михалыч с отчимом, расставшись с Семёном в позапрошлом году, подались на Урал, в Невьянск.

– И мать перед выходом на пенсию с ними укатила.

– Ясенько. К нам какими судьбами?

Однако стоило ему с напускной скромностью сообщить, что поступил в Литинститут, на сессии, как тут же усадили за стол, попросили официанта принести дополнительный прибор, налили водки, выпили и не иначе, как «наш Джек Лондон», уже не называли, а девчушки перед ним, как перед знаменитостью, даже заискивать стали. Особенно одна, глупенькая такая, натуральный мотылёк. Он даже поинтересовался:

– Ты школу окончила ли?

На киношный манер затянувшись сигаретой и пустив струйкой дым, хмыкнула:

– Давно.

– Тем летом?

Оказалось, по-за тем, второй год по вербовке на стройке, штукатур-маляр, само собой, не москвичка, как и сидевшая с ней за столом подружка.

– И про что пишете?

Но ему не хотелось делиться такими подробностями с этой... Не знаешь даже, как и назвать... Вот если бы на её месте очутилась красавица Веруня... Но чудеса не случаются дважды. Он понял это после первой встречи с Полиной, хотя после второй – чуть не месяц измывался над женой – то не так, это не эдак... Полина... Прекратится это когда-нибудь или нет?..

И тут же поднялся.

– Извини, Гер, я к своим!

– Давай! Надумаешь, приезжай. Не забыл телефон?

– Нет.

– Звони, если что.

– Ладно.

И, взбаламученный встречей, раздираемый противоречиями, не зная, в какую сторону метнуться, остаток вечера провёл за скромным студенческим столом.

А потом чуть не до утра рубились в общежитии.

– Хоть убейте, не понимаю, для чего это написано, к чему все эти восхитительные подробности, акварельная изысканность языка? Писать для того, чтобы показать, что ты умеешь писать, есть ученичество чистейшей воды, и говорить тут пока не о чем!

Вокруг выдвинутого на середину комнаты стола, на котором среди скудной закуски стояли две пустые и одна початая бутылка «Портвейна 777», кроме Павла, сидели ещё четверо: Женя Максимов из Свердловска, Митя Чирва из Рязани, Костя Маркелов из Днепропетровска и Даня Чардымов из Ижевска, – все прозаики, из одного, кроме Чирвы, занимавшегося у

Лобанова, творческого семинара. Разговор шёл о Даниных рассказах, с удивительной виртуозностью умудрившегося перелицевать на современный лад «Тёмные аллеи» Бунина и вдобавок ко всему не желавшего понимать, почему этого нельзя делать, когда в его жизни были похожие ситуации. Может быть, этого действительно не стоило делать, но именно эти рассказы поставили на уши буквально всех. И если при руководителе семинара ещё стеснялись резать правду в глаза, в общезнании, да ещё под газами, перешли все грани приличия.

– Женья! Почтенный Златоуст! И за что тебя Амлинский Златоустом прозвал? По всему видно, ты неплохо разбираешься в колбасных обрезках. Но скажи нам, ценитель колбасных обрезков, что в переводе на человеческий язык означает, поклонник одно, двух и даже трёх-уровневых подтекстов, что именно твой мчащийся поезд означает? Какой во всём этом смысл? Куда и с какой целью он мчится? – возразил Костя Маркелов, год назад в звании прапорщика уволившийся со сверхсрочной службы из музввода.

– Да он просто слизал это у Айтматова, а тот у Маркеса. Очередной парафраз на тему «Ста лет одиночества» – не понятно, что ли? – подхватил Митя Чирва.

– Ты что-то имеешь против Маркеса?

– И не только против него! Но у того хотя бы нашлось место для Ремедиос Прекрасной, а у вас с Айтматовым что?

– Да не в этом дело! Просто писать надо о современности, а не парафразы на темы прошлого века!

– Что есть современность, Женья? То, что ты минуту назад сказал, – уже история! – возразил Даня.

Во время дебатов с его лица, украшенного ямочкой на подбородке и аккуратными усиками, за которые прозвали «поручиком Ржевским», не сходила снисходительная улыбка. Был он старше присутствующих года на три, окончил исторический факультет пермского университета, преподавал в ПТУ, или, как он выражался, в «фазанке», и, будучи более искушённым «в мире идей», чувствовал некоторое превосходство над остальными.

Но Женья не собирался сдаваться.

– Ей-Богу, детский сад какой-то! Нет, я, конечно, понимаю, что Гладков с Панфёровым – графоманы чистой воды, но и Данина шитая белыми нитками начала века писанина – не литература тоже.

Костя возразил:

– А твои рассказы о том, как вы собирались на хате и пили, вместо того чтобы учиться, – литература? Якуту простительно ничего не читать, у того какие традиции? Отец пас оленей, дед пас оленей, прадед пас оленей... И так от Вавилонского столпотворения – все пасли оленей. О чём писать – не вопрос. Зачем читать Пушкина, Достоевского, Толстого? К национальной культуре оленеводов они никакого отношения не имеют. Но ты, Женья, кажется, не якут.

– Да поймите вы наконец: современному читателю не интересны душевные переживания новоявленных Кити и Левина! Да таких просто нет!

И тогда Павел, порядком захмелевший, до сих пор казавшийся безучастным к спору, поднялся.

– Откуда такая уверенность, Женья? Да мы только строим из себя разбитных, а сами помешаны на Татьянах Лариных. Помешаны, Женья, помешаны! Данины рассказы тебе не по нутру потому лишь, что ты через себя из стыда перед нравственной шелупонью перешагнуть не можешь!

– Чего буровит? Всё, мужики, Тарасову больше не наливать!

– Причём тут это?

– Да между людьми давно уже другие отношения!

– Раз, раз – и на матрас? – усмехнулся Даня.

– Вот именно!

– Только чтобы доказать обратное, напишу об этом!

– О чём?

– О девушке, которую недавно встретил. Вернее – встретил давно, ещё в семьдесят пятом в Нижнеудинске. Было ей тогда двенадцать...

– Ого!

– Же-эня!

– Златоуст твою мать, в самом деле, дай человеку сказать! – рявкнул командирским голо-сом Костя Маркелов.

– Мужики, на полном серьёзе заявляю, ничего у меня с ней не было. Сами понимаете – ребёнок... Но глаза!.. Нет, это надо видеть! Как вспомню – и за всю жизнь обидно становится! У меня, мужики, не жизнь, а приключенческий роман, с прологом и эпилогом. Опиши как есть – не поверят. Короче, любил одну, крутил с другой, чуть было не женился на третьей, а в жёны взял, которая нечаянно под руку подвернулась. А в начале января приезжаю сюда, и как бы вы думали, встречаю – кого?

– Мэрилин Монро?

– Я серьёзно!

– Всё, старики, заткнулись – иначе будете иметь дело с чемпионом Европы среди юниоров по боксу! – заявил Чирва.

На него посмотрели с недоверием – сухопарая Митина фигура к подобным заявлениям не располагала. Даня подтвердил:

– Свидетельствую – «муха»!

– Тогда молчим.

– Говори, Тарасов!

– В общем, встречаю её. Не поверите – до сих пор под впечатлением! Восемнадцатилетней девчонке за всё время общения «ты» не посмел сказать!

– Да что, в самом деле, за притча?

– Прямо заинтриговал!

– Хоть бы одним глазком глянуть!

– Ходит в церковь, отец, дед – священники. И это ещё не всё! Друг, с которым золото мыли, женат на её сестре, окончил духовную семинарию, учится в академии, недавно дьяконом стал. А ты – не бывает!

– А-а, ну тогда понятно! У этих всё не как у людей! Я их за версту различаю – длинные юбочки, бледненькие личики, опущенные глазки...

– В том-то и дело, Женя, не скажи они тогда, что ходят в церковь, я бы ни за что не подумал.

– Да неужели?

– Всё, мужики, ждём романа! Тарасов, обещал!

И тут же переключились на другое.

– Господа, а что вы думаете о Солженицыне? Если взять за основу его «Архипелаг», одна же получается идеологическая дребедень: большое на всю голову Политбюро, во главе с батькой усатым, кругом шпионы, сексоты, вышки да психушки. Ка-ак люди жили?

– И я того же мнения. И хотя тогда не жил, не думаю, что всё было так безысходно. Да я счастлив уже потому, что есть!

– И впрямь! Помните у Рубцова? «В комнате темно, / В комнате беда, / Кончилось вино, / Кончилась еда. / Не бежит вода / У нас на этаже. / Отчего тогда / Весело душе?»

– Как у нас?

– У нас, по крайней мере, ещё вино не кончилось. Даня, чего задумался? Наливай!

– Стало быть, весело душе?

– И я считаю, никакой поступательной истории нет, а есть время для проявления качества!

– И совместного проживания!

– И выживания!

– И что? Не вижу в этом ничего плохого.

– Тогда – что, да здравствует двадцать шестой съезд КПСС?

– Почему – КПСС? Сразу – товарищ Сталин!

– Что-о?

– А что ещё могут означать его портреты на машинах и автобусах, фильмы «Освобождение», «Тегеран-43»? Я сам после «Тегерана» портрет Сталина в кабине грузовика возил, хотя и не питаю к нему никакого уважения.

– Хочешь сказать, Сталин опять нужен?

– Избави, Боже!

– Ну почему... Какой-никакой, а был порядок.

– Кто сказал?

– Да все говорят.

– А знаете, что любимая артистка Сталина Орлова заявила, узнав о его смерти? «Наконец-то он издох!»

– Правильно! Мы даже представить себе не можем того страха, под которым люди жили!

– Ещё бы! При Сталине на такой разговор, да ещё в такой компании, мы бы ни за что не рискнули, а теперь можем говорить совершенно свободно.

– Говорить – да, но попробуй об этом написать и напечатать хотя бы за границей, тогда увидишь, что будет. Попробовал Солженицын...

– А я ещё раз повторяю: современная литература – кривое зеркало, искажающее настоящее положения вещей!

– Вся?

– Абсолютно!

– Это кого ты имеешь в виду?

– Да всех, кого ты мне назовёшь!

– Господа, не будем ссориться! Скажите лучше, что вы думаете по поводу «звёздной азбуки неба» Кедрова? Я прочёл по его совету есенинские «Ключи Марии» – впечатляет!

– И что тебя впечатлило?

– Да всё, Женя, всё. В отличие от тебя, я не привык болтаться на поверхности.

– Это ты на что намекаешь?

– Какой ты недогадливый!

– Ну что вы как маленькие?

– Господа, а как вам Джимбинов?

– «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи»?

– Умный мужик, ничего не скажешь!

– А Смирнов?

– И Смирнов, и Лебедев, и Селёзнёв, и Ерёмин – не пустобрёхи точно.

– Это кого ты считаешь пустобрёхом?

– Да хотя бы Власенко. Не пустобрёх разве?

– О, ещё какой!

– А Кедров?

– Ну! Этот себе на уме! Слышали, чего вчера отмочил? «Воскресение» и «воскрешение», оказывается, два совершенно разных понятия.

– И всё-таки мне по душе его утверждение, что вся нынешняя литература – до Достоевского!

- Нашёл кого слушать!
 - А вообще, старики, нам ужасно повезло. Чувствуете накал вселенной?
 - Ещё скажи, с нас новая история начнётся.
 - Я в этом даже не сомневаюсь.
 - Мне тоже кажется, что мы доживём до революции.
 - И что будет?
 - Монархия.
 - Не смеси!
 - Христианский социализм будет, а не монархия!
 - Ещё лучше!
 - Почему?
 - Ну скажи, зачем тебе социализм, да ещё христианский? Мало тебе простого, тебе ещё христианского вдобавок подавай?
 - Две совершенно несовместимые идеи! Христианство абсолютно монархично. При едином Отце, какой может быть социализм?
 - Да ещё все до одной власти – от Бога!
 - Действительно неплохо устроились!
 - Абсолютнейшая чепуха!
 - И тем не менее это исторический факт!
 - Вам что, делать больше нечего? Развели какую-то мутату!
 - Господа, Златоуст – убеждённый атеист! Он у родной бабушки единственную икону разбил!
 - А она его, поди, шанежками кормила!
 - Причём тут икона? И потом, когда это было?
 - Когда бы ни было, Женя, на том свете тебе всё припомнят.
 - Плевать я на них хотел!
 - Мужики, кончилось вино!
 - И еда!
 - Но есть ещё вода, старики! Ставим чай!
- И ещё около часа толкли воду в ступе.
Уже засыпая, Павел твёрдо решил: ноги его в церкви больше не будет.

2

И, однако же, по возвращении домой, словно специально подбираемый кем-то, в один из пожарных выходных потащился в ту самую церковь, где когда-то венчался Серёжка Кашадов.

Несмотря на будничность дня, ввиду случившегося церковного праздника, народу оказалось столько, что Павел едва протиснулся внутрь и, сдавливаемый со всех сторон, всю службу с пытливым любопытством поглядывал по сторонам. И чем дольше наблюдал, тем больше приходил к убеждению, что церковь и в самом деле всего лишь прибежище для усталых и отстающих – ни одного молодого, интеллигентного или хотя бы с проблеском мало-мальской работы мысли лица, – сплошное престарелое невежество да клинический фанатизм.

Но и служащий священник удивил не меньше. Лет около сорока, с маленькими, под самым носом, усиками, он навязчиво напоминал Раджа Капура. И это бы ничего, но когда во время целования на престольного креста тот пригласил его для беседы, Павел, как бы ни был критически настроен, не столько из приличия, сколько из профессионального любопытства, отказаться не смог и, выйдя боковыми дверями, направился к старинному, с двумя отдельными входами, двухэтажному особняку, ограждённому с одной стороны садом, а с другой – небольшим старинным кладбищем. От кого-то он слышал, что в этом здании находилось епархиаль-

ное управление, жил архиерей, и грешным делом даже подумал: уж не к самому ли владыке пригласили его на беседу? То-то было бы неожиданным – из огня да в полымя.

На крыльце парадного входа, под навесом на фигурных чугунных столбах, остановился. И уж совсем было заскучал, да проходившая мимо старушка в чёрном халате, спросив, кого ждёт, ввела его в дом и оставила одного в небольшой светлой комнате.

В правом углу, перед старинной иконой в богатом резном киоте, горела навесная лампада. На придвинутом вплотную к окну небольшом обеденном столе, накрытом идеальной белизны скатертью, стояла большая тарелка со свежей клубникой, при взгляде на которую у Павла разыграл аппетит. И, чтобы унять его позывы, он стал смотреть в окно на залитый июньским полднем ухоженный яблоневый сад, сверкавшую сквозь густую листву огненными бликами Оку, покрытый густым лесом высокий берег Щербинок, на клочок идеальной чистоты неба над ним. И если бы не чувство неясной тревоги...

Но сказка скоро кончилась.

Без облачения, в светском (чёрные брюки, светлая, с закатанными рукавами, рубашка), священник определённо тянул на Раджа Капура. И это бы ничего. Но то, что началось потом, просто ни в какие рамки не лезло. И надо бы с самого начала догадаться и уйти, а на него словно умопомрачение нашло.

Разумеется, ничего особенного в том, что тебя тут же усадили за стол лакомиться клубникой, не было, если оставить без внимания как бы дружеские пожатия за плечи.

– Сейчас такси придёт, и поедем, пообедаем, посидим, поговорим... Студент?

Не без внутренней гордости Павел заявил, что учится в Литературном институте. Но этого оказалось недостаточным – не все, видимо, знали про единственный в стране институт. Перечисление окончивших это эксклюзивное заведение литературных знаменитостей тоже не произвело ожидаемого эффекта: ни об одном из них служитель культа не слышал. И это не только показалось дремучим невежеством, но и добавило тревоги.

Заглянувшая в дверь старушка сообщила о прибытии такси. Чего-чего, а что придётся такое количество огромных баулов и целый чемодан с кагором загружать в багажник «Волги», Павел никак не ожидал. И пока ехали, хотя ни о чём не разговаривали, чувство тревоги только продолжало расти. Куда едет, зачем?

У одного из деревянных домов частного сектора остановились, выгрузили из машины и перетаскали в просторную кладовую «принос». А потом через длинный сквозной коридор прошли в сад, посередине которого накрывала на стол одетая во всё чёрное пенсионного возраста полная женщина. Кем приходилась она одинокому, как тут же выяснилось, священнику, понять было невозможно, поскольку называла она его батюшкой, хотя в доме распоряжалась как полноправная хозяйка.

Перед трапезой помолились. Хозяин разлил по стеклянным фужерам кагор, которого у него скопилось не менее ста бутылок, словно напоказ выставленных вдоль стены кладовой. Выпили. Закусили пельменями. Выпили ещё.

За чаем зашла речь о Достоевском. Вернее, Павел завёл разговор о нём, как о своём кумире. И потом не слышать о Достоевском было бы просто свинством.

– О да, Достоевский – большой психолог, – с плохо скрываемым безразличием избитой фразой поддержал разговор хозяин.

Задело. «Психолог! И всего лишь?» И чуть не полчаса без передыха говорил наполовину словами замысловатого преподавателя Кедрова о том-де, что демонизм русской революции наглядно изображён Достоевским в романе «Бесы», что преступление Раскольникова вовсе не в убийстве старухи-процентщицы и невинной Лизаветы заключается, а в преступлении заповеди «не убий», о чём и сам убийца не раз заявляет, «тварь, дескать, ли я дрожащая или право имею»; что без понимания этого совершенно не понятны причины его мучений, поскольку полно таких, которые убивают и не мучаются, а это значит, в лице Раскольникова

изображён взбунтовавшийся верующий человек, при виде творящегося безобразия не сумевший вместить, что всё это может допустить Бог; что в «Братьях Карамазовых» мысль эта доведена до абсурда, а в «Легенде о великом инквизиторе» даже сделан намёк на то, кто и ради чего во всём этом беззаконии виноват, а в эпилоге...

Но хозяину, очевидно, надоело это слушать.

– Всё это хорошо, – перебил он, – но и дела поделать надо.

И, тяжело поднявшись из-за стола, пригласил поклонника Достоевского разбирать «принос».

Странно после всего выше изложенного было наблюдать Павлу, с каким удовольствием тот раскладывал по огромным, чуть не доверху наполненным ларям пачки сахара-рафинада, печенья, вафель, кульки конфет, муку, крупы, хлеб. Понятно, что двоим всё это до конца жизни не съесть, и только не понятно, для чего столько.

Когда всё было разложено, поднялись наверх, в довольно просторную светёлку, помещавшуюся под крышей. Потолок, стены были обиты потемневшей от времени рейкой, отчего комната казалась сумрачной. К выходящему в сад окну был приставлен небольшой стол с двумя стульями по бокам. У противоположной от входа стены находилась железная кровать, застеленная матрасом и байковым одеялом. В дальнем правом углу, перед старинной, в позолоченном киоте, иконой, с потушенной лампадой, стоял аналой, рядом с ним этажерка с несколькими толстыми, очевидно, церковными книгами.

– Какие у тебя волосы красивые! Не завиваешь? – поинтересовался как бы между прочим хозяин.

– Ещё чего!

– Свои?

– Свои.

– Может, на кровать присядем?

Ничего не подозревая после выпитого вина, Павел охотно согласился:

– Можно и на кровать.

И только когда оказались рядом, подумал: «А зачем это мы на кровать сели?»

Но не успел сообразить, как тот, обняв его за плечи, сказал:

– Приляжем?

И сразу прострелило: «Ах, вон оно что!» Был бы перед ним не священник, точно бы по физиономии съездил, а так и не знаешь даже, как поступить.

И тут же решительно поднялся.

– Мне пора!

Хозяин тут же засуетился.

– Ты только никому не говори. Слышишь? Никому. – И стал совать Павлу в боковые карманы пиджака горстями мелочь. – На дорожку. Бери-бери. Пригодятся.

На выходе из дома вложил в руку, видимо, хозяйкой приготовленную тяжёлую тряпичную авоську с пачками сахара, печенья, вафель, с кульками карамели, пряников.

– Приезжай дровишек поколоть, – крикнул вдогонку.

«Да пошёл ты, козёл!»

И, раздираемый возмущением, идя вдоль сплошного бетонного ограждения какого-то секретного завода, всё выгребал из карманов мелочь и метал через высоченную ограду. И когда освободился от иудиных сребреников, всё не мог решить, что делать с содержимым авоськи – кидать через ограду пачки сахара, печенья, вафель было бы просто нелепо. Да и ограждение вскоре закончилось. Стали попадаться навстречу люди. А тут ещё и к остановке вышел.

В автобусе почувствовал неудержимую потребность с кем-нибудь поскорее поделиться. И хотел было ехать к Игорю Тимофееву, да подумал, вряд ли застанет его в ресторане, где с

недавних пор тот работал заместителем директора, и направился к руководителю литературного объединения Николаю Николаевичу.

Район, где в одной из блочных пятиэтажек обитал с женой и семилетним сыном Николай Николаевич, назывался Кузнечихой. Квартира была на пятом этаже, двухкомнатная, с тесной кухней. Из-за постоянного безденежья в квартире было не только пусто от мебели, но даже не на что сменить ободранные, выгоревшие от времени обои и порванный местами коричневый линолеум. Чай, например, Николай Николаевич заваривал в эмалированной, закопченной сверху и будто ржавчиной покрытой изнутри кружке. В хорошую летнюю погоду чаёвничали на балконе. Сидели на связанных шпагатом стопах старых газет, курили (обычно сам хозяин) и вели нескончаемые разговоры о литературе. Из местных прозаиков Николай Николаевич считался самым молодым, года три назад принятым в Союз писателей, хотя прошлой осенью ему стукнуло сорок пять. Даже при беглом знакомстве с такой откровенной нищетой, у любого нормального человека давно бы отпала охота писать, у молодого же писателя – никогда: увы, молодости неведомы границы собственных возможностей, и всякому кажется, что уж его-то дар не только неиссякаем, но и на самые престижные премии потянет, только вслух об этом никогда не говорится, даже наедине с самим собой. И это несмотря на то, что Николай Николаевич тем только и занимался, что рисовал перед каждым из своих новых подопечных довольно безотрадные картины писательских судеб, которые начинал не иначе как: «Вот и смотри-и», хотя смотреть там было совершенно не на что.

Появление нежданного гостя хозяин, в валенках на босу ногу, в телогрейке на голое тело, в тубетейке, встретил с удивлением:

– О! Проходи. А ты что какой взъерошенный?

– С тем и приехал. Это вам.

– Куда столько?

– Берите, Николай Николаевич, берите, всё равно даром досталось, а домой не повезу. И вообще выбросить хотел...

Историю Николай Николаевич слушал внимательно, не перебивая, глядя в глаза – сочиняет, нет? И когда понял, что нет, привычным движением огладив аккуратные усы с бородкой клинышком, сочувственно протянул: «Да-а». Но и этого было достаточно, чтобы на время снять камень с души.

Заварили в кружке чаю, вышли на балкон. Солнце стояло ещё высоко и, если бы не ветерок, было бы жарко.

– В институте как дела? Пименов как – жив, здоров? Старый, поди, совсем?

– Ещё ничего.

– Пишешь ли?

– Больше с ума схожу.

– Ну!

И тогда по накатанной дорожке Павел стал излагать историю с Пашенькой, закончив тем, что всё в нём встреча эта перевернула.

– Из-за неё, можно сказать, и в церковь эту потащился. И ведь как чувствовал! Святоши проклятые!

– Ну, ты всех-то под одну гребёнку не чеши.

– По мне, так и одного вполне достаточно!

– Ну ладно, ладно, успокаивайся.

– В самом деле, что я всё о себе да о себе, – притормозил Павел. – В литобъединении что нового?

– А ты загляни.

– Есть новенькие?

– Двое.

- И как?
 - Да пишут помаленьку.
 - Что-нибудь стоящее?
 - Да ты загляни, загляни.
 - Ладно. У вас как дела с книгой? Тимофеев сказал, скоро выйдет.
 - Не зна-аю.
 - Как хоть называется?
 - «Весновка». По новой повести. А рассказы старые.
 - О сплавщиках повесть?
 - Можно и так сказать.
 - И долго писали?
 - Двадцать лет с собой рукопись возил.
- Павел с удивлением воскликнул:
- Ого!

А про себя с молодым эгоизмом подумал: «Да за это время не то что повесть, две «Войны и мир» можно написать!» А вообще, его всегда поражала обстоятельная неторопливость наставника – такой, право, копуша. На занятиях папку с очередной разбираемой рукописью неторопливо достанет из своего замызганного портфеля, положит на стол, развяжет тесьмы, откроет, заученным движением ладони смахнёт с первой страницы невидимые пылинки, так и эдак повернёт, покашляет, подумает, и не только скажет хорошо продуманное слово, но и поля рукописи простым карандашом испещрит подробными замечаниями. Читать их было не всегда приятно, но всегда полезно. Эта неторопливость и на его прозе отражалась. До идеального блеска отделялась каждая фраза. Ни одного слова невозможно было выкинуть, чтобы не нарушить ритмический строй предложения. И достигалось это кропотливым трудом, титанической усидчивостью, олимпийской выдержкой. Единственное, хотя, может быть, и самое существенное, что можно было поставить в упрёк – периферийность темы и даже не это (работали же на периферийном материале так называемые деревенщики, да ещё как!), а отсутствие драматизма. Всё держалось не столько на сюжете и характерах, сколько на безупречном стиле, а в этом далеко не все разбирались. Может, поэтому книги Николая Николаевича, во всяком случае, в их совхозной библиотеке стояли совершенно нетронутыми. Нельзя же, в самом деле, большую часть времени, отдавая работе, в короткие часы досуга о ней же и читать? И Павел время от времени закидывал удочку: «Николай Николаевич, роман когда напишете?» На что мудрый наставник загадочно отвечал: «Роман может быть только один». Чего-чего, а этого Павел уже никак вместить не мог. Как это – один? Да у того же Достоевского или Толстого вон их сколько! И каких! А тут один! Или они друг друга не понимали? Или говорили совершенно о разных вещах?

- Что с очерком?
- В первом номере обещают дать.
- Отвези пока в «Ленинскую смену».
- А напечатают?
- Ты предложи, а напечатают или нет – дело другое.
- Ладно.

3

И всё-таки случай этот основательно выбил у него почву из-под ног. Да что там! До такого бесстыдства, до такой беспринципности, до такого откровенного хамства он ещё никогда не доходил!

И только непонятно, с какого бодуна в литобъединении с одним из новичков из-за Евангелия сцепился. Это когда во время перекура тот с вызывающим всезнайством заявил, что самое слабое место в Евангелии – история с тридцатью сребренниками. И тогда Павел на повышенных тонах, словно его лично оскорбили, возразил, что в Евангелии не может быть сильных или слабых мест – это не литературное произведение, хотя Евангелия ещё и в руках не держал.

И, пока шагал к трамвайной остановке, окончательно утвердился в мысли, что «в детсаде этом» ему делать больше нечего. Рукопись в «Ленинскую смену», правда, отвёз.

В следующую пятницу играли свадьбу в горбатовском клубе, который с недавних пор стали приспособлять для этих целей. И надо было такому случиться: в очередной раз встретился с Полиной, и не только с ней, но и с Клавдией Семёновной, и с Александром Егоровичем – вообще, со всей их роднёй, поскольку женили Гошу. А кое с кем даже удалось капитально поговорить. В перерыве пропустил стопку за встречу с душой-Егорычем, посидели, повспоминали былые времена, затем подсел к бывшей «тёще».

– Сломали вы, Клавдия Семёновна, всю мою жизнь.

Она искоса на него через могучее плечо глянула.

– А не сам?

– И сам. Не спорю. Но и вы постарались. Это надо! Столько времени прошло, а я всё успокоиться не могу. Пока не вижу её, вроде ничего, а как увижу, всего наизнанку выворачивает. Да и она, кстати, меня до сих пор любит.

– Ещё чего! У неё муж!

– А хотите на спор? Мужа своего она бросит и будет со мной жить. Хотите?

– Вот болтун, а! Ну и болту-ун!

– Не верите?

– Иди давай, иди, занимайся своим делом! Иди-иди и не зли меня лучше!

И тогда, улучив момент, Павел незаметно сунул Полине записку. Ни поговорить, ни потанцевать на этот раз не удалось – часовые родины следили зорко. Но уже одно то, как тотчас взяла и спрятала в рукав записку она, сказало о многом.

А в конце следующей недели состоялась встреча – у входа в автозаводский парк (до этого два дня подряд по три часа он ждал напрасно). И если бы не день и редкие прохожие, прямо у входа бросились бы друг другу в объятья. Просто какое-то сумасшествие на обоих нашло. И пока уходили вглубь парка, хотя и не касались друг друга, обоим била преступная мелкая дрожь, как в тот вечер, когда он перед своими проводами отбил её у подружек, и они вдвоём пошли вдоль забора совхозного сада, о чём прошлой зимой подробно рассказывал Пашеньке.

А затем, прижавшись к стволу старой липы, целовались воровски, с оглядкой, не видит ли кто, но с такую жадностью, словно это было первое и последнее их свидание.

– А ведь я забеременела тогда, – тяжело переводя дыхание, неожиданно призналась Полина и до боли знакомым движением завела за ухо выбившуюся прядь волос.

Его словно оглушили.

– Когда?

– Ту ночь, перед твоим отъездом, помнишь?

Так вот, значит, почему такое чувство испытал он в ту до жути пронзительную ночь!

– Почему не написала? Да я бы сразу всё к чертям бросил и тут же прилетел!

– А просто бросить и прилететь нельзя было? Бросить и прилететь. И потом, разве я не попросила тебя об этом тогда? Или забыл?

Нет, и до самой могилы, наверное, уже не забудет, каким голосом было сказано это последнее, потрясшее до глубины души «не уезжай».

– Но ты же ни на одно из моих писем тогда не ответила. Почему?

– Ждала, что наконец не выдержишь и прилетишь, чтобы задать этот самый глупый вопрос на свете.

А потом он стал снимать номер в гостинице «Волна», и она приходила к нему днём часа на два – на три. И в эти короткие часы, как и в то послеармейское лето, они истязали друг друга нещадно. Но успокоение наступало всего лишь на малое время, а затем с ещё большей силой их начинало тянуть друг к другу опять. Связь держали через почтовое отделение. Она ему, а он ей писали до востребования и по паспорту получали письма, в которых назначали время очередного свидания. Догадывался ли об этом её муж, он не спрашивал, не переносил и мимолётного упоминания о нём, Настя же не догадывалась совершенно, поскольку он говорил ей, что ездит в читальный зал областной библиотеки, где работает с редкими изданиями, которые нужны ему для контрольных.

И так, с небольшими перерывами, продолжалось до середины августа.

А за неделю до осенней сессии он заговорил с Полиной об урегулировании их отношений, сказав, что у него втайне от жены имеются на книжке двенадцать тысяч, привезённые с последнего сезона, так что на первое время можно либо кооперативную квартиру, либо дом в пригороде купить. Книжка действительно хранилась в папке с повестью о Полине. Почему, спрашивается, при таких деньгах до сих пор ютился в барачной четырнадцатиметровке? Да потому что к концу лета должны были сдать очередную пятиэтажку, в которой им, работникам совхоза, обещали дать квартиру. Деньги, в таком случае, пошли бы на машину, о которой давно мечтал. Не с самого же начала завёл речь с Полиной об этом потому, что хотел проверить, настанет ли охлаждение. Увы, с каждой новой встречей его тянуло к ней ещё сильнее.

Однако, внимательно выслушав его, как бы уходя от прямого ответа, Полина возразила:

– Ну да, а потом будешь меня всю жизнь попрекать.

– Чем?

– Что бегала к тебе от мужа. Вот, мол, какая ты!

– А я не такой, разве?

– Ты? Нет, ты хуже. Но я всё-таки первая вышла замуж.

И хотя он сказал: «Брось», хорошенько подумав, понял, что была в её словах какая-то подноготная правда, такая, через которую просто так не переступить.

– И чего теперь? Таким воровским способом встречаться всю жизнь?

– Зачем всю? Скоро я постарею, подурнею, и ты найдёшь себе помоложе.

– Да разве я для этого с тобой встречаюсь?

– А то нет! Ты только для того и живёшь.

– Для чего – для того?

– Только не прикидывайся, пожалуйста, что не понимаешь.

– А если не понимаю?

– Для очередных приключений – вот для чего. Получил?

– Для очередных приключений... – насилу сдерживая себя, повторил он. – Хорошо. Ты, в таком случае, для чего?

– Я?... – Она нахмурил брови и на мгновение задумалась. – Вину, может, свою искупаю.

Чего-чего, а этого он никак не ожидал, и это его взорвало.

– Гляди, какая благодетельница! А не наоборот? Я тебе жениться предлагаю! Понимаешь? Жениться! Всё по-человечески. А ты... ты всё, как бы не прогадать! – не удержался, чтобы не кольнуть он.

Задело.

– Давай ещё поцапаемся! И каждый день цапались бы, выйди я за тебя тогда замуж! Правильно мама сказала: ты одного себя любишь!

– Полина!

– Что, Полина? Ну что? Какая же я всё-таки дура! И всё потому, что тебя люблю, хотя ты этого и не стоишь! Но дело даже не в этом! Жена, говорят, у тебя красавица, так нет, тебе ещё

со школы (вспомни!) одних только приключений подавай! Со мной, думаешь, успокоишься? Сомнева-аюсь! В Москве вон и то успел шашни завести.

– Так и знал, что попрекать будешь! Я тебе как человеку рассказал, а ты взяла и всё наизнанку вывернула! Вы все, что ли, такие?

– Нет. Не поэтому. Просто я тебе правду в глаза сказала. Сам ты об этом никогда бы не догадался. Да я на сто процентов уверена, что и той, московской, ты скоро бы наигрался. А то я не вижу, как ты на дежурную смотришь, а она на тебя! Правда, что рыбак рыбака видит издалека.

– Так ты меня ещё и ревнуешь?

– Я глаза тебе на породу твою непостоянную открываю!

– Вот спасибо! А я-то думаю, и что это со мной, а тут вон оно что! Ну, спаси-ибо! Нет, это надо записать! – Он вскочил с кровати, на которой буквально десять минут назад они лежали молча, утомлённые очередной близостью, и как клоун забегал по номеру. – Обязательно, сию же минуту записать! Где моя авторучка с золотым пером? Где моя авторучка? Вот моя авторучка! Так, бумага где? Нет бумаги! Ничего, я на ладони запишу! Чёрт, не пишет! Чернила кончились! Дай, пожалуйста, заколку! Ну, пожа-алуйста! Палец уколою и напишу кровью!

Не обращая внимания на его шутовство, Полина неторопливо поднялась с кровати, оделась, подошла к платяному шкафу, сняла с плечиков светленький плащ, надела, подпоясалась – и тут же превратилась в исчезающую навсегда «таинственную незнакомку». Он подошёл, обнял, для большей убедительности опустил на колени.

– Прости! Ну прости! Только не уходи совсем! Очень тебя прошу!

– Пусти.

– Не отпущу, пока не простишь. Скажи, что простила? Простила?

– Мне пора. Пусти.

– Нет, ты скажи.

– Да простила. Пусти.

Он поднялся с колен. Хотел поцеловать её. Она увернулась.

– Значит, не простила.

– Ну ладно, всё, хватит.

– Когда увидимся, хоть скажи?

Полина нахмурилась.

– Тебе когда на сессию?

– Через неделю.

– Тогда после сессии.

– А не обманешь?

Она в нетерпении покачала головой и, высвободившись из его объятий, избегая встречи взглядом, вышла из номера.

Пока застилал постель, одевался, запирали номер, спускался вниз и отдавал понятиливо улыбающейся хорошенькой дежурной ключ, думал. Неужели она права и всё оттого, что с детства привык заглядываться на красивые лица? И тотчас потянуло одно воспоминание за другим. Красавица, плюнувшая ему, отроку, у совхозного клуба в лицо; школьные поклонницы его газетного таланта; рыдавшие над его глупыми рассказами про несчастную любовь «динамовки»; уродливой полноты женщина с завода, в которую влюбился за одно красивое лицо; такая же смазливая санитарка с кривыми, как у кавалериста, ногами; Полина, инопланетянка-Болотова, Танюха, Лариска; старообразная спортсменка и отвергшая его ухаживания Алёнушка из Белогорска; длинноногая красавица Веруня; соседка из села Степнова, последней близости с которой помешал пьяный начальник участка, – и, наконец, Настя. Так неужели же это не поиски единственной? Неужели она права? Да нет же, нет, он по-прежнему любит только её, только Полину, а то было так, от безысходности...

И Пашенька?.. И кто же тогда – судьба?

И только чтобы не думать об этом, сердито отмахнулся: «Да мало ли что в ревнивую женскую голову взбрѣдет!»

А на сессии чуть было не закрутил с дагестанской княжной, как её звали на курсе. Две сессии подряд казавшаяся гордой и неприступной, всегда подтянутой, одетой с иголки во всё чёрное, она первая выделила его из остальных «жеребцов». И тут же превратилась в его, книжного червя, глазах в печоринскую Бэлу. Что-то звериное, жуткое, от дикой чёрной кобылицы было во всём её облике, в стремительной походке, порывистых жестах, ослепительном оскале крепких зубов, магическом омуте чёрных глаз, в хищной улыбке. Тем более что Кавказ для него был натуральным средневековьем. И только не понять, что такое с ней, гордой замуженной женщиной патриархального востока, могло произойти, что решила она променять своего джигита на человека презренной равнины. А потом её соседка по комнате шепнула по секрету: муж ей изменил, и она поклялась ему отомстить.

– А почему со мной?

– Ты ей понравился.

– А меня не зарежут?

– Не говори глупости.

Ну почему – глупости? Но если даже не зарежут, сгореть в испепеляющей страсти такой женщины было равноценно кинжалу в сердце. И потом, кто её знает («Восток – дело тонкое»), вдруг привяжется до такой степени, что возьмёт и сама зарежет. А если не сама, так натравит кого-нибудь из многочисленной родни – или женись, или умри, несчастный. Было во всём этом, конечно, больше необузданной фантазии, чем реальной опасности, и всё-таки к стремительно бурному, как горный поток, сближению не торопился, тянул, увивал, отговаривался мелочной занятостью и всё же не смог увернуться от прощального, как бы дружеского, однако насквозь прожегшего поцелуя в щѣчку. Для завершения истории не хватило буквально нескольких часов. А потом, лежа в ночном поезде на верхней полке, он изводил себя соблазнительными картинками преступной близости.

По возвращении домой две недели подряд ездил в почтовое отделение, но Полина молчала, и как это понимать, Павел не знал. Другого вида связи не было, где Полина жила, он не знал. Разыскивать через бывшую подружку-соседку тоже не решился – как бы и то, что есть, не испортить.

А в конце сентября была свадьба Игоря Тимофеева. Как и полагается работнику общепита, гуляли в ресторане, только не в том, где он работал замом, а в другом, поскромнее.

И хотя рядом была жена, хватив лишнего, Павел умудрился прихлестнуть за свидетельницей. Специально исчезая перед началом каждого танца, он дождался в коридоре, когда Настю кто-нибудь из гостей пригласит, и, войдя, с напускным неудовольствием глянув на танцующую жену, как бы назло, в отместку, шѣл приглашать свидетельницу. И заговорил её до того, что она не сводила с него восторженных глаз. Что его к ней, не особо видной, потянуло, объяснить бы не мог. Вернее, мог, но только не своими словами, а их он категорически отрицал. И потом, что тут такого – потанцевать, поболтать, подержаться за чужую талию?

Но этим не кончилось. На следующий вечер избранной компанией кутили на даче. И ему даже самому было стыдно вспоминать, как, опять набравшись, он стал искать удобного случая, чтобы только оказаться наедине со свидетельницей, а когда Настя догадалась об этом и стала выговаривать ему, благородно оскорбился и в знак протеста ушѣл бродить по непроглядной тьме обширного садового участка. На крыльце чужого домика, прислонившись головой к перилам, даже уснул. Разбудила Настя. Увела в дом, уложила на кушетку, в знак примирения поцеловала.

На другой день, на трезвую голову, в интимной компании, в мансарде, он читал главы из своей новой повести. Игорь сидел в обнимку с женой на кушетке, Настя – в кресле-качалке,

он – на полу. Собственно, Игорь и попросил прихватить рукопись – не всё же вино пить. И, может быть, только им двоим чтение это доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. Сам Игорь так писать не умел, зато имел редкое свойство, которого Павлу явно недоставало, – ценить прекрасное у других, хотя однажды по поводу рассказов Игоря Николай Николаевич выразился, хоть и бледненький язык, да свой. Самому Павлу он никогда ничего подобного не говорил, и его долгое время мучила мысль о том, что он собственного языка не имеет. Как-то в подтверждение его догадки Николай Николаевич даже спросил: «Не писал раньше стихов?» И когда он подтвердил, ответил: «Это заметно». А хорошо это или плохо – не сказал. Положим, он и сам понимал, что каждую новую вещь пишет как бы заимствованным у кого-то стилем, во всяком случае, нельзя было сказать, что говорит собственным языком, в лучшем случае, поёт, и, может быть, даже не свои, не близкие душе песни. Не поэтому ли до сих пор рассказы его заворачивали журналы? Будучи безупречными по стилю, они были вторичны по содержанию. Да он и сам это прекрасно понимал, оправдываясь тем, что до поры до времени бережёт главную тему, на самом деле, имея такой эксклюзивный материал, просто не в состоянии был им пока овладеть. Впрочем, это разговор длинный и не всем интересный, хотя довольно часто они заводили его с Игорем. И нередко доходило до крика, до взаимной неприязни, но чем больше узнавали друг друга, тем больше понимали, что существовать в литературной стихии друг без друга не могут. Тимофеев был первым, с кем свела в литобъединении судьба. Павел хорошо помнил, когда появился этот с иголки одетый, тщательно выбритый молодой человек, какое жадное любопытство вызвали у него принесённые им для прочтения рукописи. Не успел Николай Николаевич спросить: «Кто возьмёт?», как Павел тут же подскочил: «Можно мне?» А вскоре и другие прозаики появились. Не закрывающая рта, вечно улыбающаяся учительница Задирская, по школьной привычке, казалось, затем только и приезжавшая из района на занятия, чтобы всех учить («Как тебе не стыдно? Да разве так можно? А если детям в руки попадёт?»); работавший под Шукшина строительный прораб Труфанов; перепутавший физику с лирикой радиоинженер Лёвченко. Про Аляпышева, сорокалетнего кочегара школьной котельной, написавшего толстый роман про войну, на которой никогда не был, без улыбки вообще говорить было не возможно. Когда Николай Николаевич однажды устроил встречу со своим первым наставником в литературе, ещё по речному училищу, местным классиком, ввиду разоблачения культа личности основательно забытым и доживавшим последние годы в нищете, хотя один из его рассказов даже вошёл в школьную хрестоматию и назывался «Вешки», Аляпышев задал сразивший всех наповал вопрос, над которым потом долго смеялись: «Скажите, а нет ли у вас таких мыслей (ударение на последний слог), чтобы передать кому-нибудь свой недописанный роман (двадцать лет, по собственному признанию, автор над ним работал и всё никак не мог закончить), чтобы тот довёл его до завершения?» На что, с недоумением глянув на Николая Николаевича (он это серьёзно?), забытый классик ответил: «Я бы тогда уважать себя перестал». И это всё, что смогла произвести из литературных дарований область размером с Францию. И всё-таки, несмотря на все неудачи, кроме очерка о старателях, разумеется, который Павел и за литературу не считал, был у него конёк, который он никому, кроме Трофима Калиновского, пока не показывал, – тайно хранившаяся у родителей, написанная собственной кровью, но ни в жизни, ни на бумаге пока ещё не доведённая до логического завершения повесть о привередливой красавице Полине.

И так прошёл ещё месяц. Полина по-прежнему упрямо молчала.

А десятого ноября случилась история, поначалу развеселившая, а потом заставившая задуматься. В тот день к нему в пожарку, как к писателю, а стало быть, человеку, понимающему народное горе, только догадался он об этом не сразу, заглянула степенная пожилая женщина и, присев напротив на стул, сказала со слезами:

– Брежнев умер.

– И что?

– Война будет.

Он посмотрел на неё в удивлении. И после её ухода некоторое время ухмылялся, пока не понял, почему именно к нему эта совершенно чужая (ни родня, ни знакомая) женщина с таким народным горем пришла. И на писательство своё совершенно с иной точки зрения глянул.

На смену никем и ничем не владевшим в последние годы Брежневу пришёл ортодоксально настроенный Андропов, и по этому поводу у них с Игорем Тимофеевым состоялся любопытный разговор. Игорь показал как-то общую тетрадь с вклеенными вырезками из газет. Под каждой вырезкой рукой хозяина чернилами были подписаны название газеты и дата. Была прослежена официальная информация о скоропостижных (после вспышки внезапной болезни, в результате несчастного случая и так далее) смертях высокопоставленных лиц государства. В 1976 году, например, ушли министр обороны Гречко, секретарь ЦК КПСС Кулаков. Спустя год место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству занял некий Горбачёв. В 1980 году в автомобильной катастрофе на сельской дороге погиб Машеров, которого рассматривали как одного из возможных преемников Брежнева. Внезапно умер после прогулки на байдарке Косыгин. В начале января 1982 года скоропостижно скончался Сулов, место которого, оставив должность руководителя КГБ, сразу же занял рвущийся к власти для поправления запущенных государственных дел Андропов. 19 января 1982 года застрелился первый заместитель Андропова Цвигун, женатый на сестре жены Брежнева. Ходили слухи о покушении на члена Политбюро, первого секретаря Московского горкома партии Гришина. Имелись в тетрадке вклейки с информацией о гибели в катастрофах или смещении с должностей по затеянным КГБ делам фигуры более мелкие, руководители краевого и областного масштаба, на что Игорь заметил, что этим, видимо, не кончится, поскольку Андропов серьёзно болен и долго не протянет. Павел сказал, что ребята в литинституте под пьяную лавочку поговаривали даже о новой революции. Однако Игорь категорически эту версию отнёс: «Какая революция? Идёт смена поколений. И это правильно. Нельзя же, в самом деле, чтобы, как в анекдоте, государством правили насельники дома престарелых». «И что по этому поводу думаешь?» – «Думаю, пойдёт в сторону улучшения климата». «В смысле?» – «К расширению свобод». «Перестань!» – «Поживём – увидим». А по большому счёту, в отличие от Игоря, Павлу на всё это было глубоко наплевать.

А потом опять заболела Даша. И ему бы самое время задуматься над словами матушки Олимпиады, что причина болезни дочери – он, а на него очередное упомощение нашло, и вовсе не из-за молчания Полины, как он это себе пытался объяснить. На этот раз – на танцах. И вроде бы эту вчерашнюю школьницу он и раньше много раз видел, поскольку жили они в одном совхозе, а тут словно увидел впервые – гадкий утёнок неожиданно превратился в прелестного лебедя. И до половины вечера с высоты эстрады за ней, как ворон, наблюдал, а потом пригласил на танец. Откровенно польщённая вниманием (не кто-нибудь, а сам маэстро из такой огромной толпы выделил!), во всё время танца она перед ним робела. И, хотя прекрасно знала, что он женат, что у него дочь, всё-таки согласилась пойти с ним в драмтеатр. Договорились в пятницу, после занятий в институте, в который она только что поступила, в 16–00 встретиться у входа. Не беда, что начало спектакля в 19–00, посидят в каком-нибудь кафе. Чего ему от неё было надо, догадаться не составляло труда. Нельзя же, в самом деле, жениться на всех подряд или творить беззаконие из одной лишь мести? И тем не менее он в очередной раз попытался обвести вокруг пальца совесть, потому как, если по совести, раз уж не любит жену и окончательно отказалась от него Полина, с самого бы главного и начать разговор, а он опять завёл о литературе. Удивительно, но и на этот раз сработало. И как после этого не хотеть стать писателем? Впрочем, метод этот был испытан им ещё со школы и всегда действовал безотказно.

Однако на сей раз получилось нечто совсем неожиданное. Не дождавись её у драмтеатра, он вернулся в совхоз и уже в полной темноте, весь продрогший на холодном ноябрьском ветру, перехватил её, идущую от автобусной остановки к дому. На вопрос, почему не пришла,

она ответила, что подумала и решила чужую семью не разбивать. Задело. Но совершенно другое место. Гляди, какого она о себе мнения! Да он ещё ничего и не предлагал! Больно надо!

И он бы в очередной раз, как насморком, переболел и забыл, да перед самым Новым годом случайно встретился с ней в Доме учёных, куда, несмотря на данное обещание, в лит-объединение всё-таки заглянул, хотя и по делу – очерк о старателях, промурыжив столько времени, всё-таки приняла «Ленинская смена», но понадобилась вступительная статья, и надо было переговорить по этому поводу с Николаем Николаевичем. Так вот после занятий, из любопытства (это ещё что там за шум?) заглянув с Игорем Тимофеевым в соседнюю аудиторию, увидел её в весёлой институтской компании, отмечающей наступающее торжество. Собственно, никто их сюда не звал, но так уж получилось: стоило им заглянуть, как тотчас нашлись общие знакомые. Тимофеева тут же узнал и пригласил бывший однокашник по институту. К Павлу, разумеется, пьяная, как сумасшедшая, завизжав от радости и выскочив из-за стола, уронив попутно пару стульев, подлетела она, обняла и при всех впервые чмокнула в губы. Ошалевшего от таких нежностей потащила под заведённую магнитофонную запись танцевать, и во время танца, ещё несколько раз, словно хвастаясь перед кем-то или задирая кого-то, порывисто целовала в губы, а потом стала требовать увезти домой на такси.

– Иди, поймай.

– Где я его в такое время поймаю? Если уж так хочется на такси, давай доедем трамваем до вокзала, а там возьмём.

Согласилась. Но стоило им спуститься вниз, в гардероб, следом сбежал молоденький не то аспирант, не то студент с курса повыше, и попросил её отойти с ним на пару минут и что-то убедительно пытался вдолбить в её пьяную голову. Она отчаянно мотала ею, не соглашалась. И тогда он, обронив: «Смотри, пожалеешь!», ускакал через две ступеньки наверх.

Она пошевелила извилинами и стала снимать пальто.

– Я остаюсь.

Павел не очень и огорчился: понятно – спектакль. Ей захотелось – он подыграл. И, дождавшись Игоря, вместе с ним вышли в вечернюю тишину зимней улицы.

Но этим не кончилось. Когда они с Игорем, погуляв по нарядной от новогодних гирлянд, окутанной морозной дымкой Большой Покровке (тогда Свердловке) подошли к остановке трамвая, опять подскочила она, подхватила под руку, стоявшей у фасада ДК имени Свердлова толпе махнула рукой: «Пока!»

– И что это значит?

Спектакль этот стал Павлу уже надоедать.

– А то... а то, что я поеду с тобой!

Он со сдержанной досадой процедил сквозь зубы:

– Ну-ну...

И через пять минут они вдвоём поднялись в подошедший трамвай. Затем он её, засыпавшую на ходу, через всю привокзальную площадь, длинный подземный переход дотащил до вагона электрички, усадил у окна и почти на руках вынес на станции «Доскино».

Однако стоило им спуститься с перрона, её начало выворачивать наизнанку. Чтобы привести её в чувство, он стал растирать ей сухим снегом виски, щёки. Не понимая, что с ней происходит, она пьяно отмахивалась, что-то невнятное буровила, но трезвее не становилась.

Было уже поздно – приехали они на последней электричке, надо было идти домой, а это полтора километра пути по морозу. О том, чтобы оставить её одну в таком состоянии, не могло быть и речи, но и тащить на себе это чучело не то что бы тяжело, а в высшей степени неприлично. Стоит одному увидеть – и тут же разнесут по всей округе, и поди докажи потом, что ничего у тебя с этой идиоткой не было. Однако же и деваться было некуда.

И, подняв её на ноги, закинув одну руку на плечи, другой поддерживая за талию, поволок её, едва переставляющую ноги, сначала вдоль высокой платформы, потом через пути, а

затем по освещённой лишь у Горбатовского клуба улице Школьной, той самой, по которой по возвращении с первого сезона шли они когда-то с Полиной.

Возле поворота забора совхозного сада он остановился. Безопаснее всего было идти вдоль сада, но для этого надо было бы идти по сугробам. И тогда, прислонив её к забору, он опять стал растирать снегом её лицо. И на этот раз, хоть и не сразу, добился результата. Она стала приходить в себя. Наконец узнала его. Удивилась. Спросила, осовело глядя по сторонам и ничего не узнавая, где это они и как тут очутились? Когда он втолковал ей, что от самого Московского вокзала волочёт её на себе, виновато выдохнула вместе с винным перегаром:

- Да-а? Спаси-ибо.
 - Носи не стаптывай! И кто это был?
 - Где?
 - На вечеринке.
 - Не знаю.
 - Не знаешь, а чуть было с ним не осталась, не окажись я на трамвайной остановке.
 - А-а.
 - Вспомнила? А как меня при всех целовать кинулась, помнишь?
 - Я тебя целовала?.. Ах, да...
 - И что это значит?
 - Ну я не знаю... смотрю – ты... я так обрадовалась, – не подымая глаз, замямлила она.
 - И всё?
- Она умоляюще застонала:
- Ну ты же всё понимаешь. Давай не будем?
 - Хорошо. Только дальше пойдёшь сама. Сможешь?
 - Попробую.

Она ступила шаг, другой, пошатнулась, но не упала и так, пошатываясь, пошла. Он, на значительном расстоянии, шёл сзади. И таким образом, с остановками, с падениями, вставаниями и отряхиваниями, дошли до совхоза и, будто ничего между ними не было, разошлись по разным сторонам.

А через два дня наступил новый, 1983 год. Поскольку пришёлся он на пятницу, играли четыре вечера подряд – 31-го, 1-го, 2-го и 3-го. Первый, как обычно, – заказной для рабочих и служащих совхоза по специально подготовленному сценарию, с накрытыми столами; в остальные дни – для всех желающих, но тоже с играми, хороводами, занимательной лотереей. И всё было бы просто великолепно, да очередной волной подхватило его.

4

Для музыкантов и их жён по обычаю выделили два отдельных стола у огромного окна, в которое чуть не до середины вечера глазасто смотрела сквозь неплотно сдвинутые шторы сопливая совхозная детвора. Чтобы не привлекать внимания с дороги и подчеркнуть, что клуб для посторонних закрыт, на протяжении всего вечера в фойе не включали свет, но и того, что проникал с улицы, было достаточно, чтобы не перепутать двери в туалет и найти место для курения. Высоченную нарядную ель после детского утренника с середины зала переместили в угол, и всё равно была она главным украшением и центром внимания на протяжении всего вечера. Под ней, за отдельным столом, расположились ведущие. Напротив высокой эстрады оставили место для танцев. Всё остальное пространство занимали обычные общепитовские столы, за которыми сидели по четыре человека. Во время всего вечера над головами танцующих и сидящих поблёскивали подсвеченные цветомузыкой ёлочные шары, разноцветные блестящие игрушки, серебряный дождь, нанизанная на нити вата, вырезанные из бумаги сне-

жинки. Вместо люстры по стенам мягко светились бра, отчего создавалась такая интимная атмосфера, что не одного Павла подхватило.

Если бы на месте Насти оказалась видевшая его насквозь Полина, она бы сразу обо всём догадалась и, может быть, прямо в глаза, как в последнюю встречу, сказала: рыбак рыбака видит издалека. Но Настя... Видимо, Пашенька была права, когда уверяла, что она любви его больше, чем он думает, достойна, только он этого ещё понимать не хотел. Но была и видимость причины, подтолкнувшая к вакханалии, – вопреки его настоятельной просьбе Настя облачилась в декольтированное платье и туфли на высоченных шпильках. И так-то они были почти одного роста, а тут она вознеслась над ним чуть не на пять сантиметров. Почти как Веруня тогда. Но одно дело свободная, как ветер, длинноногая красавица Веруня, другое – законная жена. Он даже поинтересовался:

– И перед кем красоваться собралась?

Настя, разумеется, огрызнулась:

– Ну ты же красуешься каждые танцы перед всеми.

– Я-а красуюсь?

– Ты.

– Хорошо. Иди. Но танцевать я с тобой не буду. Ещё не хватало народ смешить.

– И не танцуй. Подумаешь. И без тебя охотники найдутся.

– Ну-ну.

С обоюдного упрямства, собственно, всё и началось.

Пока играл, присматривался, за кем бы назло жене приударить. По правде сказать, выбор был невелик, поскольку пришли в основном люди семейные, степенные, но, как говорится, свинья грязи найдёт. Полина как в воду глядела. Одна из всего зала только и нашлась. Нельзя сказать, что это был свет в конце тоннеля, но ведь и рыбак с рыбаком не по взаимной симпатии, а из пристрастия к общему увлечению сходятся. И потом, всё-таки это была женщина хоть и разведённая, но молодая, моложе его года на два или на три, которую он запомнил ещё с девчонок только потому, что, подобно Серёжкиной, в армию она провожала одного (Павел даже был на проводах), пока тот служил, выскочила замуж за другого, а причиной развода стало то, что по возвращении из армии первого, почти в открытую стала с ним встречаться, но тот, хоть и не отказался от такого подарка, всё-таки ей не простил и женился на другой, в результате чего она оказалась ничейной. Однако нельзя сказать, что обстоятельством этим сильно огорчилась. И хотя была не особо видной (сероглазая, невысокого роста, плотненькая блондиночка), вскоре сошлась было с одним, но через год рассталась, после чего по совхозу поползли слухи, что видели-де её то с одним, то с другим из местных специалистов в служебной машине, но ничего большего предъявить не могли, мало ли кто с кем и куда по служебным делам катается. Кроме всего прочего, была она почти соседкой, жила с малолетней дочерью, которую постоянно сплавляла к матери, точно в такой же тесной клетушке, только в другом конце барака. И до этого вечера Павел даже чисто по-соседски о её житьё-бытьё не интересовался, а тут сразу втемяшилось в башку – да ведь она одна живёт! И тотчас заворчалось в нём что-то звериное...

Положим, он первый пригласил её на танец, но, будь у неё на плечах голова, разве бы пошла она при такой массе свидетелей на сближение с женатым человеком? Собственно, с первого танца всё уже было понятно обоим. И когда она вышла в тамбур, он, подождав, когда пригласят на очередной танец жену, спрыгнул со сцены якобы для того, чтобы сбежать в туалет, быстро прошёл по тёмному фойе и, повернув за угол, туда, где находилась раздевалка, тут же нос к носу столкнулся с ней и, воровски оглянувшись, сгрёб в объятия. С этой минуты они себе уже не принадлежали. И теперь надо было не только всё это и от жены, и от наблюдательных соотечественников скрыть, но и найти повод, чтобы в нужное время из своей барачной комнатки хотя бы на полночи исчезнуть. И ничего подлее придумать не мог, как напоить жену.

Не просто на, мол, пей, а сначала для видимости устроил сцену ревности и почти довёл бедную Настю до слёз, потом в знак примирения предложил выпить на брудершафт, незаметно подлив в её бокал с шампанским водки, заставил выпить всё до дна и под аплодисменты сидевших за столом музыкантов и их жён примирительно поцеловал в губы. Потом за Новый год добавили ещё, и когда Настю развезло, отвёл её домой и уложил на диван. Она не особо и сопротивлялась, потому что почти не стояла на ногах, только, всё обнимая его за шею, целовала и растерянно, будто подозревая в чём-то, спрашивала:

– Может, и без тебя обойдутся?

Он с напускною сердитостью возражал:

– Как это – без меня? На мне почти половина репертуара держится. Кто за меня петь будет?

Возразить было нечем, и тогда она, как уже не один раз и прежде, стала допытываться:

– Ты меня любишь? Скажи, любишь?

– Ну что ты как маленькая?

– Нет, ты скажи.

– Люблю.

– Не так.

– Ну что ты будешь делать! Да люблю я тебя, ну, люблю. Спи.

– А понежнее.

– Лю-ублю-у.

– Правда?

– Правда. Спи.

– А поцелуй?

Он покачал головой и нехотя поцеловал жену.

– Ещё.

– Ну вот тебе ещё. Всё. Хватит. Спи.

И, выйдя, закрыл дверь на навесной замок, хотя она просила не запирать, но он убедил, сказав, что как пить дать, она уснёт, и он до неё не достигнет, не на улице же, в самом деле, ему ночевать. Был бы он потрезвее, наверное, сам бы от такого иезуитского коварства содрогнулся, а тут как будто из него мозги вышибли или целый год взаперти держали, ни о чём другом, как только о скорейшей развязке, не думал.

И всё вроде бы незаметно для сторонних глаз прошло – да и кто в новогоднюю ночь за кем-то следить станет? – даже танцевать для того, чтобы окончательно договориться, не пришлось. У той же раздевалки, когда вернулся, и порешили.

Да, видимо, случай случаю рознь. Одно дело – связь хоть и с замужней, но всё-таки любимой женщиной его сломанной, как он считал, судьбы, другое – с этой. Даже последующие за капитальным разговором в гостинице события, как бы уже Полине на зло: недовведенная до конца не столько из боязни, сколько из благоразумия история с дагестанской княжной, наполовину романтическая встреча с бывшей школьницей, пьяные ухаживания за свидетельницей на свадьбе Игоря Тимофеева – ни в какое сравнение не могли идти с тем, на что он неожиданно для себя нарвался. Какое уж тут удовольствие? Вывалился он от неё в четвёртом часу ночи как вывернутый наизнанку и основательно вытряхнутый мешок. И даже дал себе слово, что больше это никогда не повторится.

Потихоньку отпер дверь и, не включая света, хотел уже раздеться и лечь, когда обратил внимание на отдёрнутые от окна шторы и тюль и, включив в кухне свет, сначала увидел прислонённую к письменному столу тяжёлую зимнюю раму и только потом – что на диване жены нет, на вешалке – её зимнего пальто и меховой шапки, на полу – сапог.

«В окно вылезла!»

У него даже руки мелко задрожали.

Он глянул на часы – было пятнадцать минут четвёртого.

«И где её черти носят?» О том, где самого только что носили, даже и не подумал.

«Или к родителям ушла, или я не знаю... К тому же и Даша там. Но в такой час... Хотя Новый год, может, и не ложились ещё».

Он запер летние створки, вставил на место зимнюю раму, задёрнул тюль, штору и отправился к родителям. Дорогой судорожно придумывал, чем оправдываться. И ничего лучше придумать не мог, как только зашёл-де в пожарку с праздником мужиков поздравить, а у них там сабантуй, посиди да посиди, и засиделся. А на входе в подъезд нос к носу столкнулся с Настей, тащившей за руку спавшую на ходу дочь. Оказывается, буквально час назад она проснулась, глянула на часы и, заподозрив неладное, выставила зимнюю раму, оделась, открыла окно, вылезла, дошла до клуба и, убедившись, что там никого нет, направилась к родителям. Если у них, подумала, нет, где бы ему ещё и быть, как не у какой-нибудь, как она выражалась, «бэ» и «пэ». Разумеется, всех перебаламутила, даже в порыве гнева выплеснула отцу с матерью в лицо все свои прошлые обиды, не обращая внимания на уговоры, разбудила и собрала дочь. Неверному озлобленно бросила в лицо:

– Нагулялся?

– Я-а? Да я...

Но она, не желая слушать, протащила мимо едва успевающую переставлять ноги, спотыкающуюся на каждом шагу и зависавшую на руке дочь.

Задело.

– Совсем, что ли, с ума спятила? Ребёнок тут причём?

Но только подлил масла в огонь. Оборвавшуюся и ткнувшуюся наконец носом в снег дочь Настя рывком подняла за завязанный на шее шарф и, начав отряхивать, вдруг стала изо всей силы лупить то спереди, то сзади, отчего ребёнка как куклу замотало из стороны в сторону.

– Это ты мне нарочно упала? Да? Нарочно? Я тебе упаду ещё! Я тебе упаду!

Даша подняла рёв. И тогда Павел, подбежав, вроде бы и не сильно, всего лишь ладонью ударил Настю по лицу. И, странно, от удара его она вдруг охнула, закатила глаза и, как подкошенная, осела в снег. Даша от страха ещё сильнее заверещала. Но он тут же зажал ей рот, придушенно процедив сквозь стиснутые зубы:

– Замолчи! Ну! Кому говорю?

И когда дочь, вздрагивая на каждом всхлипе, замолчала, он опасливо огляделся по сторонам. Кабы не поздний час, повспыхивали бы в обоих домах окна, а так всё вроде бы тихо и незаметно обошлось.

Настя наконец пришла в себя, молча поднялась, не отряхиваясь, взяла за руку дочь и на этот раз уже не спеша, то и дело прикладывая руку к голове, направилась к дому. Павел шёл следом. И так, не произнеся больше ни слова, дошли до барака, вошли в длинный, тускло освещённый коридор, а затем в ставшую для обоих совершенно чужой комнату.

И так же, не промолвив ни слова, Настя раздела и уложила в кроватку дочь. Выключила в зале свет и, не раздеваясь, лицом к стене легла на диван сама.

Он прикрыл остеклённую до половины кухонную дверь, отодвинул ногой половику и за кольцо поднял крышку подпола. Встав на колени, запустил руку вниз и достал с верхней полки литровую банку пшеничной самогонки, которую как-то привёз заглянувший в гости Серёжка Кашадов. И хотя брательник клятвенно уверял, что изделие его – чистейший спирт, Павел от дегустации отказался и для угощения родственника сгонял в магазин за водкой, а самогонку спустил в подпол – в хозяйстве пригодится. Вот и пригодилась. Следом за самогонкой извлёк трёхлитровую банку засолённых Настей для экономии вместе с помидорами огурцов. На газовой плите стояла сковорода с жареной картошкой. Правда, давно остывшая, но ничего, на закуску с солёными огурчиками и помидорчиками сойдёт. И так прямо всю сковороду целиком и переставил на стол. Отрезал кусок ржаного хлеба, открыл банку с соленьями, ложкой

выловил и пристроил в сковороде пару помидорин, три аккуратненьких огурчика. Когда снял полиэтиленовую крышку с банки с самогонкой и понюхал, в нос ударил чистейший спирт, без малейшей примеси сивухи.

Павел достал гранёный стакан. На секунду задумался, сколько налить. Всё-таки он сегодня хоть и немного, но выпивал, и остатки хмеля ещё бродили в голове. И, сказав: «А», налил доверху. Давненько он такими порциями, да ещё самогонку, да ещё за раз не принимал. Осилит ли?

Но за один приём осилил только половину. Насилу перевёл дух. Высосал помидор, похрустел огурчиком, несколько раз поддел вилкой картошку.

Спирт ударил в голову. Казавшаяся чужой и неуютной комнатка немного повеселела. От души отлегло.

Он допил остатки. Закусил. И хотел было плеснуть ещё, но подумал, кабы не было хуже, и, приоткрыв дверь, примирительно глянул на жену. Спит, нет? И хотел уже позвать, но, вспомнив, как лупила она ему назло дочь, передумал, а в душе опять зашевелился зверь...

Налив ещё с полстакана, залпом выпил. Запил рассолом. Ничего не прибирая и не выключая в кухне свет, открыл дверь в комнату, вошёл и, сев на край дивана, стал снимать свитер, рубашку, брюки, носки. Всё это накинул на спинку детской кровати. Укладываясь спиной к спине жены, озлобленно толкнул её рукой: «А ну подвинься!» И она, тут же завозившись, отодвинулась, но голоса не подала.

«Так и знал, что не спит. Ну-ну. Дуйся. Сама напросилась. Да я за ребёнка!.. У-у!..»

И вскоре словно в яму провалился.

5

Разумеется, он ничего не слышал, но по пробуждении не составило труда догадаться, что встала Настя, видимо, вскоре после того, как он заснул, собрала чемодан, подняла и одела дочь, написала записку и, может быть, даже специально, назло, оставив включенным в кухне свет, ушла на станцию и первой проходящей электричкой уехала к родителям в Гороховец. Тут и езды-то всего полтора часа. Добралась уже, поди. И только представив, что там теперь творится, Павел весь изморщился, в том числе и от головной боли.

Он натянул брюки, сунул руки в рукава рубашки и протиснулся между дверцей холодильника и вешалкой к умывальнику. Стукнул снизу по соску – ни капли. И ведро оказалось пустым. И всё-таки не пошёл на колонку. Налил полстакана самогонки, поморщился и через силу выпил. Запил рассолом.

Когда прошла похмельная тошнота и отпустила головная боль, разогрел на газу картошку и основательно закусил. Затем, вроде бы даже немного взбодрившись, сказал себе: «Всё. Хватит. Не спиваться же, в самом деле, из-за какой-то ерунды».

Поскольку ругать его теперь было некому, прямо в брюках растянулся на застеленном диване. Стал прикидывать в уме. Так, до конца января Настя в отпуске. Но и потом, из-за болезни Даши перейдя с тепличного комбината на совхозный коммутатор, где дежурила через двое суток, чтобы как можно сильнее досадить ему, вполне может ездить на дежурство из Гороховца, а работала бы на комбинате, куда б она делась? В очередной раз проглотила бы обиду и вместе со всеми вышла на работу. Положим, и он виноват, но, как говорится, не пойманый – не вор. И ударил, и что, с кем не бывает? И главное ведь – за дело. И если прямо сейчас поехать, то и получится, что он во всём виноват. А так не едет, и не едет, и ничего, и так пройдёт. Да из одной ревности сама через неделю припрётся.

Как обычно, без стука, заглянула разведённая соседка слева, та, у которой чуть не каждые выходные под «Шизгару» отплясывали индийские слоны:

– Соли дай.

Не подымаясь с дивана, махнул рукой:

– В столе.

– А ты чего это как барин развалился? Настька где?

– К родителям укатила.

– Когда вернётся?

– А куда ей торопиться? Она в отпуске.

– А ты, смотрю, и рад!

– Чего-о?

– А то я не видела!

Для пушей убедительности пришлось даже сесть.

– И чего ты видела?

– Не боись: чего видела, про то никому не скажу.

– И говорить нечего.

– Настьке своей заливай. И не постыдился, а, от такой-то красавицы! А теперь, смотрю, с утра самогонку хлещешь! Что, совесть замучила?

– От самой чуть не на полверсты разит, а туда же! Топай давай, училка хренова!

– Я-то пойду... – В дверях, однако, притормозила, глянула на банку с солением и как бы между прочим предложила: – Проголодаешься, заходи. Банку с огурцами только не забудь прихватить.

– Да хоть обе забери! Да бери-и, бери-и, только исчезни!

И та, не постеснявшись прихватить обе банки, по-кошачьи мурлыкнув: «Мерси», – быстро скрылась за дверь.

Неужели, в самом деле, видела? Да нет, откуда? Или та проболталась, или сама догадалась. И потом, если даже Настя догадалась, этой пройдохе чего стоило? И что это на него, в самом деле, нашло? Сто раз проходил мимо прежде, не замечая, а тут словно с цепи сорвался. И он в очередной раз попытался свалить вину на Полину – ну вот чего молчит? ну вот чего?

И, чтобы стряхнуть всё это как наваждение, решительно поднялся, оделся, сбегал с ведром на колонку и стал наводить порядок.

За этим занятием его и застала мать. Разумеется, тут же, как и соседка, поинтересовалась, где Настя с Дашей, а когда он ответил, естественно, спросила:

– И чегостряслось?

Но он категорически отверг объяснения:

– Мама, мы разберёмся сами!

– Сами! Смотри у меня!

И тогда он для видимости взбунтовал:

– Да что это, в самом деле, а! И учат, и учат! Прекратится это когда-нибудь или нет? Я что, дитя несмышлёное?

– Ну-ну, поговори ещё!

– Мама, с Новым годом тебя! Ты куда шла?

– К вам.

– К нам! Замечательно! Так проходи, мама, садись! Вина, извини, нет. Кончилось вино. И еда кончилась. Видишь, сковорода пустая? Но есть ещё вода, мама. Чай, кофе?

– Ничего не надо – сыта. Пойду. Обедать приходи.

– Мыться сейчас приду.

– Если есть чего постирать – приноси.

– Всенепременно, мама!

– Балабол!

А помыться действительно надо было позарез. Таким нечистым, даже сальным он, пожалуй, с последней белогорской гулянки себя не чувствовал. И теперь ему хотелось только одного

– поскорее всю эту грязь смыть. А заодно и безобразие это хотя бы на время прекратить. По крайней мере, в пределах совхоза. А то, в самом деле, что люди подумают? И для реабилитации перед женой. За ним теперь зорко следить будут.

Ванна, контрастный душ, горячие пельмешки с горчичкой действительно взбудрили. Он бы и от стопочки не отказался, да родители не предложили, а сам он из благоразумия поостерёгся попросить.

Поднявшись из-за стола, казалось бы, на минутку прилёг в зале на диван и незаметно уснул.

Проснулся от сотрясения – за Маришей нарядный жених зашёл. Валерка. Бывший одноклассник, а теперь непотопляемый штурман Волжского речного пароходства. На конец января уже и свадьба была назначена. Поэтому вёл себя Валерка как хозяин, впрочем, и раньше не особо церемонился, да и родителей дома не было – ушли к отчимовой родне. Присев на диван, спящего шурина, как лежачую корову, без всяких яких Валерка огрел могучей дланью по спине:

– Спишь!

Павел вскочил как ошпаренный. Ничего не понимая спросонья, спросил:

– Куда это вы?

– Здравсте! На бал к тебе! Вставай давай! Играть нам будешь!

– В такую рань?

– Маринк, он у вас чё, недоношенный? Рано, говорит! Хех! Проснись – половина девятого на серебряных!

– Серьёзно? Ну-ка? Точно. Всё, встаю.

– Вот клоун!

Одеваясь, по заведённой привычке над незатейливым зятем подтрунивал:

– И что бы я без тебя делал, не представляю? Ну вот всегда ты во время. Ну никуда с тобой опоздать нельзя.

– Смейся-смейся!

– Кроме шуток. Когда на танкере покатаешь?

– Когда лёд сойдёт.

– А ледоколом нельзя, что ли?

– Каким ещё ледоколом?

– Как это? Атомным. Имени Ленина. Что, не умеешь на таком?

– Маринк, он у вас чё, с приветом?

Павел усмехнулся, перед вынутым из старого трюмо и прислонённым к стене в прихожей большим зеркалом надел ондатровую шапку, застегнул доверху молнию на сшитом в конце последнего сезона и до сих пор не утратившем товарного вида цигейковом полушубке и вышел.

Спускаясь по лестнице, по инерции над незатейливым зятем иронизировал:

*Я пришёл к тебе с приветом —
Рассказать, что солнце встало,
Ну а ты была с приветом —
Ничего не отвечала.*

Но стоило выйти на улицу, на душе заскребли кошки.

К вечеру вдарил мороз. Небо от края до края в жемчужных узорах. Огненными одуванчиками распушились редкие фонари.

На клубной площади празднично сверкала гирляндами разноцветных фонарей высоченная ёлка. У билетной кассы, на крыльце клуба, скопилась огромная толпа. Парни молодецкато подёргивали плечами, толкались. Девчонки приплясывали от холода. Всем поскорее хотелось

попасть в тепло. Практически для всей окрестной молодёжи клуб был единственным местом для знакомства. Такого разнообразия лиц, причёсок, нарядов нигде больше нельзя было увидеть. Это был настоящий парад невест (и женихов, разумеется). Сюда сходились девчата со всех шести окрестных посёлков, и даже приезжали, как их называли, автозаводские. Появлялись гости из других городов. Особенно оживляли атмосферу прибывавшие на тепличный комбинат практикантки. Этих моментально разбирали по рукам. И выходили они порою за таких, за которых ни одна из местных девчат ни за что бы не пошла замуж. Собственно, и самого Павла судьба скрутила на танцах. И вот уже четвёртый год он с высоты эстрады наблюдал за тем, как на его глазах завязывались, развивались, доходили до кульминации и счастливой или печальной развязки чужие судьбы. От сотворения мира, собственно, ничего нового, кроме, разумеется, внешнего оформления и песен, которые иллюстрировали эти незамысловатые истории. И тем не менее для каждого нового поколения всё это было, как пели, «впервые и вновь». И стоило, например, затянуть: «Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно», как тут же настороженно замирал зал, в глазах девчат появлялся прикрытый дежурными улыбками или пустыми разговорами страх: пригласят, не пригласят? Парни начинали по-волчьи озираться – никто ещё не решается сделать первый шаг. Но вот наконец через весь зал двинулся первый мировой скиталец, за ним второй, третий, и буквально через минуту пустой круг заполнялся танцующими парами. Даже «некрасивые и немодные совсем» никогда не оставались у стен, с гордо задранными носищами, этой национальной бедой, танцую друг с дружкой. Павел давно заметил, что красивые девчата, как правило, дружили с красивыми, а некрасивые с некрасивыми. И в то время, когда одни во время танца наговорятся друг с другом не могли, другие, с окаменелыми лицами, друг на дружку даже глядеть не хотели. А то и похлеще бывало: «Взгляд при встрече отведу, / И пускай щемит в груди. / Я к тебе не подойду, / Я к тебе не подойду. / И ты ко мне не подходи». А чего, спрашивается, не поделили? Даже снится друг дружке от такой же неземной, как и любовь, злобы переставали: «Ты мне не снишься? Я тебе – тоже». И хоть земля тресни под ногами, ничего с собой поделат не могут. До дня рождения были родными, после дня рождения стали чужими. И ходить теперь за ней ни к чему, и цветы дарить теперь ни к чему. Даже во время быстрых танцев в то время, когда одни изобретательностью движений старались превратиться в привлекательных особ, другие изображали из себя каких-то отчаянных головорезов: «Оп ана!» Бедная Земля! Инопланетяне давно бы с тоски подошли, земляне же ни за что и никогда! И снится им не рокот космодрома, а снится им, видите ли, трава у дома, обычная зелёная трава. Даже «если любовь не сбудется», они всем смертям назло будут поступать как хочется и считать, что даже самая случайная встреча – лучшее средство от одиночества. И вообще, «не надо печалиться, вся жизнь впереди», а раз впереди, «надейся и жди»... у моря погоды или пей «до дна за тех, кто в море». «Юля, Юля, Юля! Всё равно тебя люблю я!», и даже на непонятном – «ай лав ю» – языке...

Так иногда Павел потешался над тем, что видел, соотнося с тем, что исполнял. Но сегодня было не до развлечений. Ещё вчера у него была нелюбимая, как он считал, жена, присутствием которой тяготился, контроль которой воспринимал за ограничение своей драгоценной свободы, теперь он был совершенно свободен и никем не контролируем, а вместо радости испытывал под сердцем холодок. Положим, пустота неприбранной комнаты царапнула ещё поутру, но леденящая пустынно́сть звёздного неба, в которой на триллионы световых лет не было ни души, – это... Ну, вот он свободен, и что? И кому он теперь нужен? Даже нелюбимой жене и любимой, как считал, и любившей его, хотя он этого, оказывается, и не стоил, Полине не нужен. Или всё-таки нужен, да она в очередной раз испытывает его?

Он протиснулся сквозь толпу и вошёл в клуб. Неудивительно, что после вчерашнего и он показался немножко чужеватым.

Ребята уже включили аппаратуру и, осторожно ступая между шнуров, настраивали гитары. Купленная им на свадебные деньги самой последней модификации «Юность» смотре-

лась эффектно. Вся окрестная музыкальная шелупонь завидовала. Каких только эффектов в аппарате не было! А сколько тембров! Даже барабаны и рояль имитировала. Нет, кормилицу свою он уважал. С каждой свадьбы она приносила четвертачок. За месяц стольничек. С танцев семьдесят-восемьдесят рубликов набегало. Вместе с пожарной зарплатой за три сотенки выходило. Как же после этого кормилицу свою не любить, а заодно – и песни русские. Ему, во всяком случае, они совсем не строить, а безбедно жить помогали.

Однако и в клубе его ждала сногшибательная новость. Димка, их замудоханный судьбой-злодейкой барабанщик, вернулся к Вальке. И в это никоим образом нельзя было поверить, и тем не менее это был свершившийся исторический факт – Димка собственной персоной восседал за ударной установкой, а нарядная Валька – в артистической, вместе с жёнами остальных музыкантов, а стало быть, совершенно несостоятельным получался рассказ, за который похвалил его тогда, в Жолнино, на семинаре молодых писателей Николай Николаевич. И Павел с щемящим чувством вспомнил тот потрясший его до глубины души вечер, побудивший к написанию этого рассказа. И решил отыскать его в своём писательском архиве, чтобы освежить в памяти события двухлетней давности.

Разумеется, и эти поинтересовались, где Настя, и, выслушав ответ, с предупредительными намёками пропели: «Ой, Тара-асов, смотри-и». Он самонадеянно отмахнулся: «Всё под контролем». Снял и повесил на вешалку полушубок, шапку, перед специальным артистическим зеркалом поправил завлекательные кудри и вышел в заполненный шумной толпой зал.

6

Первый раз, если не считать время болезни дочери, он играл на танцах, будучи совершенно свободным. Любую (вон их сколько, аж в глазах рябит) мог пригласить и под прикрытием темноты проводить. И только к себе до окончательного выяснения обстоятельств затащить не мог. А уж как хотелось! Для красного словца, что ли, пел: «Новая встреча – лучшее средство от одиночества»? Нет, и эти, и другие положения исполняемых им песен он вполне разделял, хотя и подтрунивал одновременно над ними. Всё у него было так – и глубоко и поверхностно, и серьёзно и смешно одновременно. Полина, видимо, всё-таки была права, когда уверяла, что открывает ему глаза на его натуру непостоянную. Да ему что? Он и тогда всё попытался свести к хи-хи, ха-ха: «Где моя авторучка с золотым пером?»

Мысли о Полине задели, хотя о непостоянстве своём он задумывался и раньше (иначе разве бы стал клоунничать?), и довольно часто, во всяком случае, в те счастливые послеармейские годы и первое время старания об этом даже скорбел. И, не понимая, почему с ним такое происходит, относил либо к тому, что таким, видимо, уродился, либо к тому, что таким его сделала паскудная жизнь.

Но и эта заноза сидела недолго.

Четыре удара барабанными палочками – и под визг подхваченной праздничным безумием толпы понеслось:

*Ты мне в сердце вошла,
Словно счастья вестница.
Я с тобой для себя
Целый мир открыл.
Но любовь, ты, любовь —
Золотая лестница,
Золотая лестница
Без перил.
Но любовь, ты, любовь —*

*Золотая лестница,
Золотая лестница
Бе-эз пе-эри-ил.*

И ведь в который раз эту затасканную дребедень исполнял, так нет же, как мотылька ветром, подхватило опять. Да ведь и то сказать, когда вкладывался в каждое слово, какими восторженными глазами на него смотрели! Уж это неотразимое смешение невинности, любопытства, страха и даже готовности на всё!

Куда было деваться? Пригласил. А пригласив, всем нутром почувствовал, что опять пропал. А казалось бы, из-за чего? Ниже его на голову, почти ребёнок, с пылающими пожаром щеками и по-детски румяным, поди, и не целованным ещё ртом. И только небесная синева глаз определённо напомнила ему что-то, вернее, кого-то из прежней старательской жизни... Кого бы?.. И тут же вспомнил не дававшую ему прохода девчущку из Белогорска, с которой, как уверял прошлой зимой Пашеньку, затеял переписку только для того, чтобы от охотников на тринадцатилетних дурочек уберечь, и всё-таки не уберёг – сожитель матери изнасиловал. Интересно, вняла ли она его совету, оставила ли мысль о самоубийстве?.. И надо же, собственной персоной вдруг предстала перед ним опять.

Он спросил, как её зовут, сколько ей лет, откуда. На всё она отвечала с потрясающей откровенностью: «Надя. Двадцать» (Он не поверил. Вот уж действительно, маленькая собачка до старости – щенок). На посёлке». И эта доверчивость напомнила ему уже ту, перед которой он... нет, не робел, а как перед святыней благоговел, и которая сама с двенадцатилетнего возраста любила его и все эти годы тайно от всех писала письма, одно из которых (и какое!) он тогда прочёл. И вся разница была лишь в том, что там ему никогда и ничего бы не обломилось, да он и не стремился к этому, тут же... Хотя, может быть, он и ошибается. И вообще, разве он на такое способен?

Однако же, раздираемый противоречиями, уверяя себя, что только из профессионального интереса так поступает, попросил подождать его после танцев у начала Пролетарской, на том самом месте, где, убегая от него в то злополучное утро, свернула за забор совхозного сада Полина.

Чтобы избежать подозрений, больше с ней не танцевал. И она – ни с кем. И, забившись в дальний угол зала, словно изваяние, преданно простояла до конца вечера. И когда заиграли прощальный вальс, вышла вместе со всеми.

Убрав в артистическую аппаратуру, музыканты дружной толпой вывалились на крыльцо. Заперли клуб. Немного поговорили о необходимости срочной репетиции для пополнения репертуара, после чего, обронив «Побегу!», всего лишь для отвода глаз Павел направился в сторону дома, однако жена барабанщика не упустила случая под общий смешок кольнуть:

– Ты туда ли?

– Да пошли вы!

* * *

Ну что такого особенного, о чём он раньше не знал, чего прежде никогда не испытывал, с ним произошло? Нет, ну это же натуральное безумие! Ну для чего, зачем он идёт? А если кто-нибудь увидит? Хотя кто же, кроме непутёвой скотины, в такой лютый мороз по улицам шататься станет? Да, может, его ещё никто и не ждёт. Вот смеху было бы, когда бы он притащился, а там никого.

Но она стояла на самом виду, под фонарём. И, точно школьница, в коротеньком пальтишке, вязаной шапочке, в опровержение своего возраста, чтобы согреться, прыгала, играя в

классики. Его даже озноб прошиб, на неё глядя. Не доходя десяти шагов, он побежал и, подбежав, как в армии, продолжая бежать на месте, сказал:

– Бежим! Бежим-бежим, а то замёрзнем!

И она, ни слова не говоря, за ним припустила. Бежали до тех пор, пока не выбились из сил.

– Согрелась?

– Даже пальто скинуть хочется!

– Ну-ну, скинуть! Не останавливаться! Быстрым шагом идём, чтобы успокоить дыхание.

Нельзя сразу останавливаться. Сердце может остановиться.

– Поди, не остановится. Вот если бы ты не пришёл, точно бы остановилось.

– Ты это серьёзно? Что-то я тебя раньше не видел.

– А я и не ходила.

– Ни к нам, ни в Горбатовку?

– Не-а.

– И что такое случилось?

– А ничего не случилось. Взяла да пошла. А раньше стеснялась.

– Чего?

– Что маленькая такая. Ой, и чего я только не перепробовала, ну не расту и всё. И что мне такой маленькой на танцах делать? Паспорт с собой носить? А то и не пустят. Да и кому, думала, я такая нужна? Со мной и танцевать никто не захочет. И что, стоять – и всем завидовать?

– А видишь, как вышло?

Она восторженно протянула:

– Да-а!

– И почему больше ни с кем танцевать не пошла?

– Как это? – удивлённо глянула на него снизу. – Ты мне свидание назначил, а я с другим танцевать пойду?

Царапнуло. Совсем, как тогда в Нижнеудинске, на льду Застрянки, когда Танюха обронила вдогонку: «Паш. Я приду». Но он и на этот раз отмахнулся. Благодарно приобнял её одной рукой, прижал, с наигранной весёлостью спросил:

– Верная, стало быть, такая?

– А что, и верная, и что? Вот ты скажи, только честно, ты меня почему выбрал?

– Не я тебя, а ты меня.

– Я? – удивлённо округлила она глаза, но тут же согласилась: – И я. Но я – ладно. Ты почему?

Но он и на этот раз уклонился от прямого ответа:

– Всё бы тебе знать. Знаешь поговорку: много будешь знать, скоро состаришься? Бежим!

– Нет, погоди. Ответь сначала. Почему?

Ну что он ей мог ответить? Что такая она красивая? Так это было неправда. Что у неё потрясающей синева глаза? И что? И вообще, что бы он ни сказал, всё было бы ложью, прозвучало фальшиво, вычурно, курам на смех. Однако же надо было что-то ответить, и он сказал:

– Я тебе потом скажу. Бежим!

И они опять побежали наперегонки и бежали до тех пор, пока она первая не задохнулась.

– Всё... не могу больше... я, наверное, сейчас... упаду... ой... – насилу переводя дыхание, сгибаясь в поясе, говорила она.

И всё-таки, несмотря на такие длительные перебежки, они не преодолели и половины пути. Даже до конца Горбатовки не дотянули. А предстояло ещё миновать железную дорогу и через всё Доскино, или, как его называли, посёлок, тащиться чуть не на самую крайнюю линию, как именовались параллельные улицы.

Дальше шли быстрым шагом, точнее, она – быстрым, а он – обычным. И когда наконец пришли и встали у закрытой калитки, он спросил, глянув на тёмные окна:

– Спят?

– Да. Папе завтра вставать рано. Машинист. На товарняках ходит. И вообще они рано ложатся. Да и после Нового года.

– Как же ты домой попадёшь?

– У меня ключ есть.

– А нельзя где-нибудь там, в тепле, тихонько посидеть, а то этак мы быстро околеем?

– Дома? Не-эт... – и вдруг как-то по-особенному, или это только показалось ему, предложила: – А вот в бане... Идём? Папа с утра топил. Он всегда перед поездкой моется. Может, не выстыла ещё. Идём?

И, взяв его за руку, потащила за собой. В голове у него сразу завертелось:

«Так она это что, сама предлагает?»

В бане действительно было тепло. Даже очень. Чтобы не упариться, они сняли верхнюю одежду, шапки и положили на верхнюю полку.

– Не будем включать свет, – сказала она почему-то шёпотом и села на нижнюю полку.

Так же тихо, дрожа от волнения, он отозвался в темноте:

– Да.

Пристроился рядом, обнял её. Хотел поцеловать. Но из-за её маленького росточка это оказалось неудобно. И тогда он пересадил её к себе на колени. Она сама обняла его за шею, когда он переносил её.

Она почти не сопротивлялась, когда он, продолжая целовать, опустился с ней на пол, и это только укрепило его в мысли, что она такая же, как и все.

Когда же всё произошло и он, обо всём догадавшись, хотел спросить:

– Так ты...

Она зажала ему рот маленькой ладошкой. А когда он убрал и хотел спросить:

– Почему же не...

Она другой ладонью зажала ему рот и сдавленно прошептала:

– Ничего не говори.

Он поднялся, сказал, чтобы она сняла юбку. Она сняла и, согнув ноги в коленях, села на полу. Он достал с верхней полки таз, налил ковшом из бака тёплой воды, застирал испачканное место. Отжал и, чтобы поскорее высохло, повесил на заслонку над печью. Помылся. Сказал, чтобы помылась она.

– Отвернись.

Он отвернулся. И когда она села рядом, тщательно вымыл пол.

Пока сохла юбка, сидели молча, в разных концах лавки, потом так же молча оделись, вышли из бани и, пройдя тою же расчищенной тропой через огород, расстались у калитки, не сказав на прощание друг другу ни слова. Вот между ними всё это было, и теперь что? Даже не взглянули друг на друга. Просто, глядя себе под ноги, разошлись по сторонам.

И всю дорогу до дома Павел ругал себя и по возвращении даже пожалел, что отдал самогон соседке.

Постелив на собранном диване, разделся, лёг.

Сна не было ни в глазу. Больше всего он боялся не того, что она будет преследовать его, а того, что и впредь не сможет устоять (казалось бы, и смотреть не на что, а поди ж ты, как зацепила его), и что теперь делать, не знал. А что если и впрямь взять отпуск и укатить в Белогорск (звал же Левко) – нет, не работать, а назло жене и от всего этого на время скрыться?.. Ну это ладно, это потом, а что делать завтра и послезавтра, когда она придёт? А что она придёт, он даже не сомневался.

Но она не появилась ни в субботу, ни в воскресенье.

Весь следующий день на работе Павел проспал в своей пожарной машине и только краем уха слышал, как приходили постучать в домино совхозные мужики. А потом кто-то заглянул (жив ли?) в кабину и, прикрыв дверцу, тихонько сказал:

– Спит. Напарник ответил:

– Ну! Четыре ночи подряд в клубе играл. Вы не были?

– Как не быть? Были.

– Ну и как?

– Да всё путём. А вы что не пошли?

– Дежурил. А Шурка, чего, говорит, я там без тебя не видала? Она без меня никуда. Так ничего, говоришь, было?

– Говорю тебе, всё путём... А Кареев-то, Кареев, прямо как заправский... этот... как их... ну концерты которые ведут... Ну, ты понял... Повелеваю, говорит... Царский указ... Повелеваю, говорит, учинять украшения из елей. Новый, значит, год. Пётр Первый постановил. В тысяча семьсот каком-то году. А я и не знал. Новый год и Новый год. Я думал, всегда праздновали. А вишь, оказалось, Пётр Первый постановил. Смотрел фильм про Петра Первого, недавно по телику показывали?

– Не-э. А книжку читал. Толстого.

– Это который «Войну и мир» накатал?

– Да не-э. Другого. Знаешь, сколько их было, Толстых-то? Три или даже четыре. И все писатели.

– Ну! А я думал только тот, который «Войну и мир» накатал.

– Ты или в школе не учился?

– Как это! Семь классов и два коридора. Всё чин чинарём.

– Тогда понятно. Их в старших классах проходят. Дочь у меня учила. И мне эту самую книжку из библиотеки принесла.

– Этот тоже, что ль, пишет?

– Не-э, чита-ает.

– А говорят, пишет.

– На работе? Не-э, ни разу не видел. Читать читает, а чтобы писал, врать не буду, не видел.

– Погоди, выучится, он про тебя такое напишет, весь Союз узнает, с кем ты пожары тушил.

– Ну всё, хватит зубы скалить. Иди давай. Дай человеку поспать.

– А если пожар?

– Ты, что ли, подожжёшь?

– А что? И подожгу.

– Я те подожгу! Ишь какой поджигатель нашёлся!

– Да не подожгу, не бойся. А ты думал, подожгу, что ли? Не-э. Что я, дурак?

– Ну! Разве бы я дурака в пожарку впустил?

– Тогда, может, ещё забьём?

– Нет. Хватит. Завтра приходи.

– Ну, завтра так завтра.

И это всё, чем запомнился Павлу первый после новогодних праздников трудовой день, вернее сутки. На вторые сутки он вспомнил о рассказе. И, когда пошёл к родителям обедать, зашёл на обратном пути домой, нашёл рукопись, принёс в пожарку и засел в машине читать. В рассказе чувствовалось влияние Достоевского, на что и Николай Николаевич указывал, но было и своё, и это нечто даже по прошествии стольких лет разобрало.

Павел Тарасов

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

рассказ

Был самый промозглый, самый неуютный, самый отвратительный из всех осенних вечеров. Дождь, уныло сеявший всю ночь и весь день, только что перестал, но его водянистость до того пропитала всё вокруг, что даже воздух превратился во что-то осязаемое, холодное и липкое. На улицах ни души. Редко когда промелькнёт случайный прохожий, такой же неприкаянный, одинокий и сердитый, как и я. Иначе бы что его погнало на улицу в такую жуть? Разве довольные собой люди гуляют в такую непогоду?

Вы спросите, почему я сердитый?

Стало быть, есть причина. Да ещё какая! И сержусь я уже вторую неделю подряд. Беременную жену, друзей, родителей – всех вокруг взбаламутил, всем до печёночных колик или, как выражается мама, хуже горькой редьки надоел. И впредь надоедать намерен. И не успокоюсь, пока не узнаю всей правды. Разве можно, говорю им, жить, не зная правды? Но они, видите ли, не понимают. Вернее, не могут понять, чего я от них добиваюсь. Да разве я на французском выражаюсь? Впрочем, и по-французски я говорю неплохо. А вымуштровал не кто-нибудь, а сам Наполеон, как звали в нашей школе учителя французского языка. И принялся он за это дело с первого же урока, когда я на его французский вопрос, кто хочет выйти первым, тут же поднял руку и сказал: «же сюи», то есть «я». «Трэ бьен. Силь ву пле. Коман тапэль тю?» (Очень хорошо. Пожалуйста. Как тебя зовут?). «Мапэль Тарасов», – бодро ответил я. Он пристально глянул на мои пылавшие щёки. «Тю нэ маляд ра?» (Ты не болен?) «Нон», – в совершенном безумии ответил я. Он как бы в недоумении повёл наполеоновскими бровями: «Бье-эн». И, когда я без единой запинки ответил, выводя отметку в журнале, сказал: «Сэньк. Асэй ву» (Пять. Садись). И с этого дня между нами началось состязание. На каждом уроке он стал выводить меня первым к доске, хотя я уже, как и все, не подымал руки. И мне ничего не оставалось, как только зубрить, зубрить и зубрить. Через полгода из простой забавы всё это переросло в настоящее Бородинское сражение. На лице Наполеона уже и тени не было той насмешливой к глупенькому выскочке, которого он хотел осадить, сдержанной улыбки, а в глазах озорного огонька, как на первых порах. Раз от разу лицо его становилось всё невеселее, а в глазах даже появлялись отблески пожара сожженной им Москвы. Даже после того, как один дружок, редуты которого были сломлены таким же образом, посоветовал мне сказать (по-французски, разумеется), что у меня, мол, вчера разболелась голова, и я не смог подготовиться, и это было бы знаком полнейшей капитуляции, в отличие от презренного предателя, хоть он мне и другом был, и, разумеется, ещё Кутузова, я не мог оставить Москвы. Не сдали же её в последнюю войну наши деды, и мой в том числе. И в этом мне виделся не только массовый героизм, но и очевидный прогресс, в который я свято верил. И, как панфиловцы, решил: умру, а не отдам Москвы. И не отдал. В результате чего не только прекрасно изъясняюсь, но и свободно читаю по-французски. Но это, так сказать, к слову...

Итак, о чём я? Ну да, об истине! Не знаю кому как, но мне уже не надо задавать вопросов типа: «Что есть истина?», когда она несколько дней назад воочию встала перед моими глазами. Вы спросите, что я имею в виду? Затем и пишу. А чтобы понятней было и между нами не осталось никаких вопросов, расскажу всё от начала до конца, хотя меня и подмывает в первую очередь написать о том, что именно в тот вечер увидел. И всё-таки обмолвлюсь: никому и никогда не пожелал бы я видеть что-либо подобное...

Но к делу... Я вот всё говорю к делу, а сам топчусь на месте, как привязанная на колу коза. Однако же и совсем обойтись без предварительных объяснений невозможно.

Во-первых, кто я такой. Отвечаю. Человек. Мало? А по-моему, этим уже много сказано. Не был бы я человеком, разве стал задаваться вопросом: «Что есть истина»? Тем более когда никто вокруг о наличии или отсутствии её даже не подозревает. Более того, заикнувшегося о ней сразу начинают как бы в чём-то аномальном подозревать. Поэтому заявляю наперёд: о религии ни слова. О какой религии может идти речь, когда верующие, как сами об этом заявляют, американцы целые две атомные бомбы на Хиросиму сбросили? Ну, и какая религия такое позволяет? А коли нет, и разговоры о ней прекращаю и буду говорить только от себя и всё что захочу. Вы спросите, чего, собственно, я добиваюсь? Про истину, дескать, мы уже слышали, а поконкретнее... К тому и веду. А говорю, как умею, поэтому, если хотите узнать, терпите.

Нет, я вовсе не философ, а простой пожарник, а в свободное от работы время музыкант. Второй год играю в вокально-инструментальном ансамбле на электрооргане и пою. Танцы, свадьбы, концерты, праздники. Всего нас, как и битлов, четверо. А увлекаться этим мы стали ещё со школы, только нотную грамоту и технику игры осваивали в разных инстанциях. Мы с Димкой музыкальные школы окончили, я – по классу аккордеона, он – баяна, только в ансамбле ему пришлось за ударную установку сесть. Колька с Олежкой (бас-гитара и ритм-гитара) были самоучками, но не такими, каких пруд пруди, а с самостоятельным освоением нотной грамоты и необходимой для приличного музыканта техники игры.

К чему это говорю? Да потому что всё это имеет прямое отношение к случившемуся со всеми нами, а не с одним Димкой, как считают наши глупые, как и все женщины мира, жёны, и все в нашем посёлке – тоже не очень умные. Но мы-то (во всяком случае, я) уж точно знаем, что так или иначе, а принимали во всей этой истории самое непосредственное участие.

Нотабене. Так в записных тетрадах выражается мой кумир. Не в музыке, разумеется, а в литературе, поскольку я ещё и этим увлекаюсь – статейки в местные газеты с девятого класса пописываю.

И если по-писательски, то надо бы с описания клуба начать, в котором, кстати, всё и произошло. По архитектуре, собственно, ничего особенного – обыкновенный каменный, оштукатуренный, побелённый клуб с лепным союзным гербом на фасаде, под высоким коньком крыши, зато в отличие от допотопных деревенских имел просторный вестибюль, кабинет директора, костюмерную, гримёрную, вместительный кинозал, отдельный танцевальный зал, раздевалку, артистическую, библиотеку, комнату для кружков, используемую для занятий вечерней школы, цивильные туалеты.

К клубу, как я уже сказал, имел прямое отношение, всё свободное от работы время пропадая на репетициях. Моя половина отставать от меня не собиралась и, несмотря на беременность, вместе с другими природными дарованиями драла глотку в народном хоре. Мы над их репертуаром потешались, они – над нашим. Для сравнения.

Они:

*Не вдали, не вблизи
Я не знаю земли
Лучше той, что меня растила.*

*Синих рек рукава,
В небе синь-синева,
И светла от берёз Россия.*

Мы:

*Шизгарэн! Ою, бэби, шизгарен!
Хай ю папа, хай ю мама!
Хоп, шизгарен!*

Короче, они занимались идиллией, мы – отражали действительность. Положим, я немного загнул, пели мы и на родном наречии, но в ритме абсолютно том же. Были, конечно, и медленные танцы, вернее, лирические песни для медленных танцев, но и они всегда соответствовали окружающей действительности.

Забыл рассказать биографию.

Родился, вырос, отслужил в армии, погулял, прежде чем закабалиться, по обоюдному согласию заныкали в капусте снегурочку – пока всё.

Но куда скуднее биографии моих коллег, которые женились, как выражается моя бабушка, не погулявши. Имена простые – Димка, Толик, Олежка. Первым из нас скурвился Димка – дочери шестой пошёл, потом захомутали Толика – четыре дочке стукнуло, затем я остепенился, примкнувший к нам недавно Олежка, будучи моложе нас на четыре года, думал, что свободен, на самом деле давно сидел на кукуане.

Биографии наших жён такие же, поэтому – пропускаю. Имена, разумеется, назову. Моя – Ленка, Димкина – Валюха, Толика – Маринка, Олежкина – Галинка. С виду – как люди. Характеры? Ну какие у женщин могут быть характеры? Понятно – отвратительные. Разве у Галинки пока не проявился. Точнее, она его, как все умные девки, до свадьбы напоказ не выставляла.

Вроде предысторию рассказал всю. Что было до нас, написано в учебниках истории. Если хотите – читайте.

География? Один из пригородных посёлков. Название умалчиваю по причине могущих возникнуть неприятностей, если это кто-нибудь вздумает печатать. Город, в черту которого мы входили, стоит на слиянии двух великих рек, каких именно – не имеет значения.

Вы спросите, люблю ли я свою малую родину?

А то!

И всё-таки не могу обойтись без справедливой критики.

В городе, положим, где даже в одном подъезде люди друг друга не знают, всё это могло выглядеть вполне прилично, но у нас... Имеются в виду концерты. В городе одни умные люди пришли на других поглазеть. Посмотрели, в ладоши похлопали, разошлись, навеки друг друга забыли. Кстати, в городе-то как раз не особо любят самодеятельные концерты смотреть. Чего там после того, что у себя дома да во дворе наглядисься, можно увидеть? У нас же, когда на семь вёрст в округе все друг другу знакомые, а то и родня, на любое представление все до одного притащатся. И в первую очередь – старухи, с клюками, хоть на карачках, а приползут, да ещё самые почётные места захватят. Попробуй не уступи, они тебе такой концерт устроят. Нет, старух у нас уважали.

Из этого можно заключить, с каким тщательным отбором репертуара готовился каждый концерт. Но одно дело – концерт сборный, так сказать, сваливание в кучу инструментального, песенного, плясового и всякого иного музейного хлама. При таком разнообразии трудно хотя бы чем-нибудь не угодить. Но самостоятельный концерт да ещё в виде рок-оперы, на который мы, олухи, подписались, сами понимаете, либо понравится, либо нет. Иными словами, совершенно чужие друг другу Петя с Таней на людях будут делать вид, что вроде бы это не они

вовсе, тогда как Петькина бабка про то ни слухом ни духом, а Танькина, «погоди-ка вот, после концерту», ей задаст.

Но, как говорится, поздно...

А началось с того, что в клуб устроилась художественным руководителем городская, как про неё сразу стали говорить, «бабёночка с характером», с современными взглядами, с такой же наружностью, да ещё с редкостным именем Вирсавия (так назвалась, хотя в паспорте стояло – Куприянова Раиса Михайловна). И помутились умы многих. Не буду юлить, и я прошёл тест на роль обожателя, но вовремя одумался, а может, меня просто обошли, о чём не жалею, особенно после того, что недавно увидел, а первое время действительно завидовал. Не так часто и далеко не каждому выпадает удача аж с самой Вирсавией закрутить. Я, по крайней мере, только один случай знаю. В армейской каптёрке слышал. Не помню, как мужика звали. Помню, что как-то прогуливался он по какой-то стене, глядит: бабёнка нагишом в реке купается. Присмотрелся: «А ничего себе бабцо!» И, не откладывая в долгий ящик, с ней закрутил. И только после «того самого» (ну вы понимаете) поинтересовался: «Тебя как звать-то?» – «Вирсавией», говорит. Ты на мне женишься?» – «Да ведь я женатый». «Так и я, говорит, замужем, но мужа не люблю – такой невнимательный, даже открыточку к 8-му марта не подарит!» Жалко ему её стало. «Я, говорит, что-нибудь придумаю». И придумал. В ту пору война была. Ну, он и прикажи своему генералу: «Кинь-ка ты мужика в атаку да оставь одного». Короче, тот погиб, этот со своей развёлся, с чужой жить стал. Что-то ещё там происходило, точно не помню, что-то вроде кто-то ему прямо в глаза сказал: «Нехорошо ты, мужик, поступаешь». «Не спорю, отвечает, но куда теперь деваться, жить-то надо». И я чуть было таким же образом не поступил, да Ленка оказалась на страже. Не зря же она в хор записалась, а Толикина Маринка – в танцевальный. Олечка по годам на такие подвиги не тянул. А вот Димкина Валюха, как и жена того мужика, ушами прохлопала. Вернее, даже и мысли не могла допустить, что после такого немислимого счастья, каким она Димку одарила, он ещё на какое-то обыкновенное позарится. И это не пустые слова. По праву старшей и по годам, и по супружескому опыту она сразу поставила себя в положение непререкаемой наставницы по отношению к нашим с Толиком младшим её аж на целых два года жёнам, не сумевшим, по её мнению, до сих пор поставить нас под каблук – своего она туда ещё до свадьбы определила.

А что вышло?

Вы представляете себе жизнь поселкового клуба? Не портьте лоб морщинами – я вам её сейчас в беглых чертах обрисую. В нашем культурном заведении было сконцентрировано по максимуму всё: пение, танцы, вокально-инструментальный ансамбль, библиотека, вечерняя школа, кружок кройки и шитья, курс молодых мам, шашки, шахматы, школа игры на баяне, даже неофициальная забегаловка возле мужского туалета имела. Ну что ещё? Ах да, самое главное забыл – кино! Это уже святое, это уже в каждом даже самом захудалом клубе имелось. Поскольку кружков было море и всем хотелось уйти домой пораньше, нашу рок-оперу, как сомнительное новшество, постоянно отодвигали на последние часы. Но, как говорится, чем больше мешают, тем больше хочется. И мы репетировали всякий раз до упора. В семьях, понятно, из-за этого возникали скандалы, но мы были устремлены к победе, а поди сверни с пути идущего покорять Эверест. Кстати, рок-опера – её, Вирсавии, идея, и сценарий, и распределение ролей. И сама собиралась принять участие. Я вот сказал – сценарий, но сценарий, собственно, был построен по мотивам популярных песен, но в сопровождении выходящих за рамки приличий суперсовременных танцев, на которые я бы, например, не рискнул даже под газами. Что вы! Засмеют! Упаси Боже, вылезти с таким на какой-нибудь самодеятельный конкурс. Даже до конкурса не допустят. Понятно, в нашей деревне всё проходило без цензуры, но рок-опера... «А это что такое?» – спрашивали нас. Мы пожимали плечами: «Да мы сами не знаем». И как объяснить? Об одной всего, но не её саму, мы только и слышали: «Иисус Хри-

стос – суперзвезда». И на тебе – угодили с суконными рылами в калашный ряд. И уже заранее знали – зал будет битком.

По ходу сценария я, как солист, не только должен был петь с Вирсавией дуэтом, но и обнимать, и есть её, а она меня глазами, и чуть ли не целоваться – «Так не должно быть, но всё же я взгляд твой ловлю».

И надо такому случиться, чего не «должно быть», то и случилось. Во время первой же репетиции.

Для лучшего вживания в роли репетировали в кинозале, где должно было состояться это необычное представление.

И когда одетая в чёрный хореографический костюм в зал вошла так называемая Вирсавия, мы в первую минуту даже опешили. Какое совершенство линий, пропорций, какая гибкость, изящество в каждом движении. Она свободно гнулась во все стороны, как змея, а завязанные на затылке в пучок чёрные волосы, смуглый цвет лица, яркие полные губы, миндального цвета глаза меня, во всяком случае, просто убили.

И в тот же вечер со мной произошло то, о чём упомянул в виде шутки про тест на роль обожателя. На самом деле мне не до шуток. И срываюсь я на них только потому, чтобы хоть немного от всего потрясшего меня до глубины души отстраниться. Иначе совсем ничего не смог бы толком рассказать. Полезли бы из меня одни мыльные пузыри, то есть чужие слова, а я как-никак всё-таки журналист. А журналистикой, как известно, отвергается всякая там достоевщина, иначе – психологическая и описательная дребедень, одна только конкретика, так сказать, живой нерв жизни допускается. И всё-таки нельзя обойтись без достоевщины, иначе и сам ничего не поймёшь, и другим не объяснишь.

Короче, зарепетировались мы в тот день до упора. Глянули на часы. А, маманьки! И добраться бедной Вирсавьюшке до своего Урии (Юркой мужа звали) не на чем. Да ещё в такую погоду (а была ранняя весна). Ну я и вызвался на родительских «Жигулях» оттащить. Не ночевать же ей в клубе?

Заранее зная, что Ленка погонит волну, домой из клуба не заглянул, а напрямик к родителям за ключами от машины и в гараж.

Что было потом, разумеется, расскажу. И уж чего там, признаюсь сразу: всё могло бы уже в тот вечер, только не с Димкой, а со мной стрястись. Видимо, от гнучести её тела и от всего остального я так опупел, что не ехал, а полз километров тридцать-сорок, не больше. И всю дорогу и говорил, и говорил, и наговорил столько, что она даже на меня с опаской смотреть стала. И не без основания. Так мне, видимо, сделалось невмоготу поскорее в её африканские губы вцепиться, что я совершенно забыл о предварительных ухаживаниях. Надо было хотя бы с недельку перед ней на цырлах походить, а я, стоило нам метрах в ста от её девятиэтажки остановиться, как некультурный тип какой-то, нахрапом полез. Понятно, обиделась. Прямо так и упёрлась кулачками между третьим и четвёртым ребром. Куда деваться? Отпустил. Она шмырк из машины и дёру. «Мужа, стало быть, любит, – решил я. – А жаль». И больше к ней не приставал. А потом она мне вообще разонравилась, а вот Димке...

Но сначала о том, чем для меня это обошлось.

Вхожу я домой и, как ни в чём не бывало, кричу с порога:

– Где моя любимая жена?

А она из продолжения прихожей, для экономии места совмещённой с кухней и туалетом (в бараке дело происходило), отвечает:

– Кабы любимая была, с чужими по ночам на машинах не катался бы.

«Доложили уже», – думаю, а вслух возражаю:

– Да всего лишь товарища по работе подвёз.

– А если, – прибавила громкости, – я-а себе товарища по работе в провожатые заведу?

Мне, может, тоже страшно с тепличного комбината одной по вечерам возвращаться.

– У тебя что, – кричу, – короткое замыкание? Так откинь фазу да подумай, где комбинат, а где Автозавод.

– А-а, так я у тебя уже и безмозглая.

– Ленка, не буди во мне зверя!

– Знала бы, что ты такой гулёна, ни за что бы за тебя замуж не пошла!

– Это ты о ком на счёт гулёны-то?

– О тебе, о ком же ещё, не обо мне же? Я дома сижу, это ты вечно неизвестно где шляешься.

– И с кем, интересно, и чего я нагулял?

– А ты бы и хотел! Нет, правильно мне люди говорили: девка, смотри, за кого замуж идешь, он же бабник. Да я, дура, не верила, а потом сто раз покаялась, да поздно.

– Что поздно?

– А то поздно, была бы я такая, с которыми ты по ночам на машинах разъезжаешь, давно бы себе кого-нибудь завела, а на тебя сто куч наплевала.

Считаю необходимым продолжение разговора опустить. И вовсе не для того, чтобы пощадить уши читателя (думаю, он и похлеще слышал), а чтобы соблюсти меру, иначе бы и тридцати страниц не хватило, если весь разговор слово в слово записать, поскольку длился он часа полтора и оборвался лишь потому, что Ленке спать захотелось, а потом с неделю ещё несколько раз возобновлялся. Так что наплюйте тому в глаза, кто станет уверять, что переспорил жену. Заткнуть рот, скрыться с глаз – да, но переспорить... И это первая истина, которую я вынес из семейной жизни. Вторая была той, что ни в коем случае, хоть бы тебя с ног до головы мёдом облили и даже пообещали тут же всё простить, только скажи, никогда и ни в чём жене не признаваться. Что вы! Безболезненнее под танк лечь, чем, сказав жене правду, переносить, как она остаток вашей совместной жизни при всяком удобном случае ваши нервы утешить будет. Поэтому Ленке своей, сколько бы она ни умоляла, я ничего не сказал. Да, собственно, ничего и не было, хотя и хотелось, чтобы было. Но мало ли кому и чего хочется. Не сажать же за каждое хочу на кол?

Поэтому перехожу к концерту. Как мы и предполагали, народу набился полон зал, даже в проходах стояли. Теперь я, конечно, понимаю, что именно концерт стал той ширмой, заглянуть за которую не удосужился никто. Ещё бы! Два якобы влюблённых придурка перед полным залом чуть не целуются («Так не должно быть, но сердце стучит неустанно. Я люблю-у, я люблю-у тебя-а»), а потом ещё пытаются кого-то уверить, что между ними ничего нет, а всё это для продвижения культуры в массы. О Ленкиной истерике скажу в нескольких словах. Никаких объяснений она принимать не хотела. Била посуду, выкидывала из шифоньера на пол бельё, собирала чемодан, хваталась за живот, будто трёхмесячного на свет произвести хочет. Даже кормилицу мою («Юность») молотком расколотить грозилась и всё остальное тоже...

Короче, стали за нами следить все кому не лень, и вскоре по посёлку поползли слухи, один нелепее другого. И застукали-то нас. И чуть ли не до развода дело дошло. И даже беременна она от него, от меня то есть, и пятое, и десятое...

И, что называется, напорочили. Вы бы, например, как решили, если бы все вокруг подобные разговоры вели? Понятно, поверили. И когда всё наружу вышло, вот уж и пометали наши кумушки икру.

Было такое впечатление, словно посреди посёлка разорвалась бомба – Димка от Валюхи ушёл. Все повытараскивали глаза: «К кому?» – «К этой, чай, нерусской!» От того, видимо, что Вирсавией назвалась, решили, что не русская она. Я сам от такой новости с полным ртом земли оказался – уж бабахнуло, так бабахнуло! А у Ленки ко мне даже первая любовь возобновилась. И, главное, когда снюхаться успели?

Хотя что же тут удивительного, когда оба чуть не каждый день в клубе пропадали? Димка – под предлогом ремонта аппаратуры, она – под предлогом усиленной работы с народными дарованиями. Ну, и соединили, так сказать, свои производственные мощности.

Не понимаю, почему всё время сбиваюсь на какой-то площадный язык, когда от всего этого выть хочется? Не помню, кем замечено, что от многочасовых репетиций музыканты становятся инфантильными, но не до такой же степени, чтобы не сочувствовать чужому горю.

И всё-таки прежде чем продолжать, считаю необходимым рассказать о наших семейных обстоятельствах. Чему учила наших с Толиком жён Димкина Валюха, я уже упомянул. Не сказал только, что ничего путного из её наставлений не вышло. Толикина Маринка сама оказалась с характером. Ленку я с помощью Фёдора Михайловича интеллектом задавил. И ещё неизвестно, как бы другой на Димкином месте поступил, если б с ним обращались, как царь со слугой в одной сказке: «Сиди, дурак, молчи, дурак, помой посуду, дурак, полы, дурак, то же протри, и воды, дурак, принеси, дурак, из колодца, дурак, то же». Я, конечно, утрирую. Может быть, и слова «дурак» в обиходе ни разу не произносилось, но что мнение главы семейства никогда не имело никакого значения – знаю совершенно точно. Я ни разу не слышал, чтобы за годы нашей совместной деятельности Димка хотя бы раз похвалил жену. Ни разу, правда, не упомянул и о том, что она его постоянно пилит. А пилила она его даже при людях. И денег мало носит, и не жизнь у них, а какой-то сплошной кошмар: ни ковров, ни сервизов, ни стенки путной купить не на что, и чуть ли не голая она ходит. Не упоминал, видимо, об этом Димка потому, что в другой обстановке не жил, и думал, что все так маются. Два Новых года мы отмечали нашей музыкальной компанией на дому у Толика и ни разу Димка с Валюхой не были. Я даже подбивал Ленку как-нибудь между делом поинтересоваться, живут ли они как муж с женой. Хотя, казалось, и факт налицо – шестилетняя дочь Люба. Что хотите со мной делайте, но, в отличие от Достоевского, я не могу припомнить ни одного поступка, за которые мне захотелось бы этого человека похвалить. И если бы меня попросили её охарактеризовать в двух словах, я бы ответил – жена друга. Даже улыбка у неё была какая-то нехорошая, надменная, со злинкой. Какое-то обиженное на весь белый свет существо именно за то, что ей достался такой никудышный муж. Не удивительно, что от такой жизни Димка стал крепко зашибать, причём ни копейки не тратя из того, что зарабатывал на заводе, где трудился жестянщиком, а также из музыкальных денег. Выше крыши хватало и того, что доставалось на свадьбах. В последнее время он дошёл до того, что по две-три бутылки водки незаметно умыкивал с каждой свадьбы, а затем всю неделю квасил в клубе.

И вдруг ровно год назад бросил пить. Ни на одной из свадеб не прикоснулся к водке больше ни разу. Не скажу, чтобы мы были пьяницами. Выпивали, конечно, когда по стопке, когда по две за вечер, но не больше, иначе, сами понимаете, что бы это была за игра, а то и совсем не прикасались, но чтобы ни капли на протяжении целого года, и даже на Новый год, когда вокруг дым коромыслом, было, конечно, достойно всяческого уважения. Характер! Это уж потом, начитавшись Достоевского, я стал понимать, если б не было у него характера, разве смог бы он шесть лет прожить с такой скырлой? А что пил, так хоть закидайте меня камнями, а я скажу: для современного мужика это, может быть, единственная отрада. Бабы думают, раз он мужик, так ему, как тяжеловозу, ничего, кроме плетей, чистого стойла да хорошего корму не надо. А ему, может быть, не меньше любой бабы хочется, чтобы его похвалили, пожалели, по головке погладили. Это только снаружи он – мужик, герой, плясун, а захочет, и просто так, из одного озорства, возьмёт и всем праздник испортит, иной уж и с усами, и даже с бородой, а внутри всё тот же скиталец, нуждающийся в заботе. И когда ничего такого со стороны второй половины не наблюдает, либо квасит, либо по уши чем-нибудь увлечён – рыбалкой, охотой, техникой...

И вдруг на пути такого заезженного мужика встречается не просто баба, а то, что я выше описал, да ещё с таким сногшибательным именем. Думаю, знающим в бабах толк мужикам

больше ничего объяснять не надо, а женщинам, сколько ни объясняй, у них всё равно мужик виноватым окажется.

Но это ещё не всё. Если бы только это, что бы стоил мой рассказ? Тысячи подобных историй происходят постоянно. И я бы даже бумаги марать не стал, кабы только в том заключалась суть, что мужик бабу с ребёнком бросил. Нет, беда или, если хотите, суть вопроса, той самой истины, о которой в начале упомянул, заключалась в другом. И я только одного боюсь, смогу ли всё, как сам это понимаю, чувствую, вижу, передать. Так что если не получится – не обессудьте.

Димка был отцом на удивление! Таким, на которого мы не могли смотреть без улыбки. Теперь мне даже кажется, что взаимной привязанности немало способствовала семейная обстановка. Дети же ведь не понимают, почему мама всё время сердится и на папу кричит, и по свойству своего сердца жалеют того, кого обижают, и непроизвольно отталкиваются от того, кто всё время сердится. Я даже знаю, что в те времена, когда Димка поддавал, Валюха его не раз на глазах дочери по чему попало и чем под руку попадёт лупила – веником, шваброй, половой тряпкой, свёрнутым в жгут сырым полотенцем... Да ещё на дочь орала, когда та после таких экзекуций подходила отца пожалеть. Под горячую руку и ей доставалось: «Ишь, какая засранка! Нашла кого жалеть!» Поэтому присутствовала Люба почти на всех наших репетициях. Что такое гармонист на деревне, думаю, объяснять не надо. Такой же, если не большей, популярностью пользовались и мы во всей нашей живущей деревенским укладом округе. Ну, а дети в первую очередь такими отцами гордятся. И это было написано на Любином лице. А тут ещё папа пить бросил. И теперь на каждую репетицию Димка вёл Любу с собой за ручку. Мы с улыбками поднимались на эстраду, если репетировали в танцевальном зале, или выносили аппаратуру на сцену, когда готовились к концертам, или прямо в артистической репетировали, а Люба садилась напротив нас на стул и, побалтывая свисавшими ножками, во все глаза за нами наблюдала. В зависимости от ритма и содержания песен лицо её меняло выражение, а иногда она шевелила губами, подпевая, но во время перерывов никогда не подавала голоса. Сидела как мышка. И после репетиций с папой по улице шла, просто сияя от счастья. Даже попадавшие навстречу интересовались порой: «Это что у вас там за праздник?»

Припоминаю дни, когда Люба болела. Разумеется, я не видел, но даже из того, что доходило до моих ушей, разумеется, через Ленку и Маринку (ибо с нами Валюха никогда не разговаривала), можно было немало понять. Мать, какая ни будь, а никогда не упустит случая поговорить о здоровье ребёнка, о том, чем лечила, что помогло, а что нет. Из этих разговоров я и знал, что не Валюха, а Димка ставил дочери горчичники, делал массаж, бегал в аптеку, приносил то, сё, натирал чем-то, ноги парил, а Валька только душой маялась, на больную дочь глядя. Как же после всего этого ребёнку отца не любить?

И вдруг – бабах!

Гад ползучий, скотина и всё такое прочее она, может, и раньше слышала, но что у неё вдруг не стало папы – это была не просто новость. Это было такое потрясение, глубину которого я только недавно осознал.

А что произошло?

Что он ушёл, Валюха громы и молнии мечет, ребёнок страдает, посёлок на ухах, мы в полной растерянности, как теперь играть, – это понятно. Не могли мы вместить вот чего. Неужели, живя с другой, он будет продолжать ходить на репетиции, играть на танцах и от всей души петь: «Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезёт...» И главное, какими глазами будет смотреть в глаза дочери, если она придёт на репетицию?

Но, видимо, он не хуже нашего это понимал и на репетиции ходить перестал. Мы стали собираться без него, приглашая парнишку из второго состава (с некоторых пор у нас появился второй состав, иначе бы как могли мы, играя, в то же время ещё и танцевать). И это бы ничего. Но за всё время наших ущербных репетиций Люба, несмотря на угрозы матери, нет-нет, а в окно артистической всё-таки заглядывала. Да и окна были невысоки, и немного отступающий

от стены фундамент позволял, уцепившись руками за железный слив, стоять и смотреть, как подсматривала почти каждые танцы в окна совхозная детвора. Потом перестала ходить. Даже долетело до меня от кого-то, что мать сказала дочери, что отец не просто их бросил, а умер, и его даже похоронили. Но Люба, разумеется, не поверила. И потом, сами понимаете, каким тоном и при каких обстоятельствах такие вещи говорятся. И вскоре испуганное личико её опять стало появляться в окне. Уж этот глядящий во все глаза детский взгляд! До сих пор, как вспомню, нехорошо становится. Но и это бы ничего. То ли ещё человек перенести способен?

Но тут случилось такое...

И хотя шептались у нас самые языкастые, что-де, Валька накаркала, понятно, всё произошло совершенно не поэтому, отчего и заявил, что о религии не скажу ни слова. По-своему же разумению представляю всё это так.

Разумеется, так именуемой Вирсавии из клуба пришлось уйти. А затем вместе с годовалым ребёнком поселиться с Димкой на частной квартире, а точнее, в ветхом домишке на посёлке. Туда и стали мы за Димкой перед свадьбами заезжать, а на танцах и репетициях, как я уже сказал, он не появлялся. Довольно часто заставляли мы его с ребёнком на руках. Кое-как причёсанная, замордованная бытовыми неудобствами псевдовирсавия на секунду показывалась на глаза, полыхала глазами, надувала и без того пухлые губы, хмурилась и тут же исчезала. Сердится она при нашем появлении или просто стесняется, попытаться у Димки было невозможно. На все расспросы он только как-то странно улыбался.

Так длилось с полгода, а буквально две недели назад пришедший на очередную репетицию Толик огорошил, заявив, что Димка в больнице, что у него обнаружили какой-то не то рассеянный, не то задумчивый склероз – временами до того мог забыть, что даже уехать или уйти неизвестно куда, и только потом очнуться. Даже в другом городе мог очутиться. Мы, разумеется, не поверили. Ладно, мол, заливать, это что за болезнь такая смешная? Но Толик стоял на своём. И ведь прав оказался. При такой болезни человек совершенно спокойно мог выйти на железнодорожные пути и преспокойно шагать по шпалам навстречу предупредительно свистящему поезду и думать о чём-то совершенно постороннем.

В таком состоянии Димку однажды и сбила машина. Произошло это ночью, буквально неделю назад, когда он возвращался со второй смены. Вместе со всеми он сошёл с автобуса, люди двинулись переходить дорогу, и первый, заметивший идущую навстречу машину, всех предупредил. Люди остановились, а Димка прямо под колёса грузовика вышел.

Теперь о дне похорон. От Любы, понятно, всё это скрыли. Тем более что последнее время она довольно часто стала появляться у клуба и, встав на выступ фундамента, заглядывать в окно даже тогда, когда в нём не было света. Я сам заставлял её в таком положении несколько раз. И потихоньку привык, хотя первое время царапало, да ещё как.

И вот наконец похороны. Как она там, что с ней, хорошо ли её от всего этого оградили?

И вдруг такое!..

Это уж потом нам рассказали.

Когда мимо дома, где прежде Димка жил, гроб вместе с роднёй в кузове открытой машины провезли, Валюха в окно это видела и, подождав немного, выпустила погулять канючившую дочь. Та ровно что своим детским сердечком чувствовала, когда на улицу просилась: пусти да пусти. И когда очутилась на улице, в первую очередь побежала к клубу. А там возле памятника такие же, как она, девочки в классики играли. И когда она по обычаю своему, встав на подоконник, заглянула в окно, одна из девочек засмеялась и громко сказала:

– Еёва папу хоронят, а она в клуб глядит!

Люба спустилась с выступа, подошла к девочке.

– Чьёвова папу хоронят, ну?

– Твоёва, чай, а не моёва. Только что на машине на кладбищу провезли.

– Нет!

– Не веришь, а его, пока ты стоишь, совсем похоронят.

И тогда она пошла, всё время оборачиваясь, очевидно, ожидая, что вот-вот все засмеются, дескать, разыграли, да тут уж все девочки замахали руками:

– Да бежи-и, бежи-и, опозда-аешь!

И она побежала, да так, как это умеют только дети, совершенно не разбирая дороги. Бежала и падала, в кровь сбивая колени. Вставала, дрожащими пальчиками трогала окровавленные колготки, плакала и бежала опять.

На кладбище она оказалась как раз в тот момент, когда стали засыпать могилу. Пробралась между ног, выскочила на бугор и чуть не свалилась в яму. Кто-то в последний миг успел подхватить её на руки, но она тут же в отчаянии забилась.

– Отпустите меня, я вас не люблю! Отпустите меня, я вас не люблю! Отпустите меня, я вас не люблю!

И это сверлило в ушах до тех пор, пока её не унесли с кладбища. Кто-то даже заметил: «Совсем, что ли, Валька рехнулась – ребёнка на кладбище одного пустить?» Многие плакали. Моя Ленка с Маринкой так вообще! Даже пьяненькие похоронщики хмурились. Могилы у нас копали только свои. Никто друг на дружку не смотрел. И поминки получились не поминки, а не пойми что, потому как и на них нет-нет, а кто-нибудь возьмёт да скажет в сердцах: «Ну мы-то ладно, ребёнка за что?» И со всех сторон тут же летело: «Ну ладно, знаешь, и без тебя тошно, ты ещё!..»

Говорили, что к Любе вызывали врача, какие-то уколы успокаивающие делали, что она все дни напролёт плачет, твердя сквозь слёзы одно и то же: «Па-а-па-а... па-апа-а...» Даже говорили, Валька её за это разок поколотила, нервы, дескать, сдали. Потом вроде бы всё стало успокаиваться. Любе перестали давать успокоительное, и не то чтобы разрешили, а даже наказали почаще выпускать на улицу. Станет-де с другими детишками играть и потихоньку забудется.

Но вместо этого...

Однажды вечером (а поздней осенью темнеет рано) я шёл от родителей по нашей главной улице, шёл себе и шёл, не помню уж, о чём думал, вокруг ни души, тихо, почти во всех окнах свет, один только клуб и стоял во мраке, так что я не сразу заметил, а когда заметил, не сразу понял, кто это там, а когда узнал, сначала не мог сообразить, чего она там делает, а когда догадался, меня прошило насквозь – да ведь она его высматривает. Вне себя от волнения я прошёл мимо. Остановился. Пошёл назад. Вернулся. Потом ещё раз прошёл.

А она всё стояла на дрожащих от усталости ножках, из последних сил держась за железный и, наверное, холодный слив окна, с детской надеждой на чудо вглядываясь в тёмную глубину окна.

8

Павел отложил рукопись. Вытер кулаком набежавшие слёзы. И хотя Димка был жив, а теперь ещё вернулся в семью, к вымыслу относилось не так уж много. И было вот как. Поскольку дочь не хотела верить в смерть отца и по-прежнему, несмотря на запреты, продолжала ходить к клубу, Валька как-то на улице в присутствии посторонних детей обмолвилась: «Говоришь ей, умер, так нет, не верит». И, когда мимо клуба по дороге проехала похоронная процессия, слышавшая разговор девочка решила, что это Любиного папу хоронят, а другие дети, не зная, кого на машине провезли, это подтвердили, и тогда Люба с окровавленными коленями принеслась на кладбище, и совершенно чужие люди унесли её от могилы. Валька была в шоке, однако убеждать дочь в том, что отец жив, не стала. Единственно сказала, что его не сейчас, а давно похоронили. Естественно, дошло до Димки. Может быть, это впоследствии и послужило поводом для его возвращения в семью. На эту тему Павел с ним не разговаривал,

да тот и не стал бы ничего говорить. И то, что после пусть и чужих, но всё-таки похорон, в тот осенний вечер увидел у клуба, а также о рассеянном склерозе, он и положил в основу рассказа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.